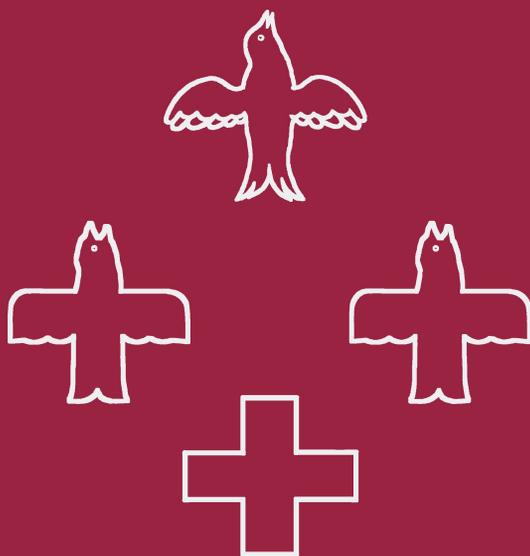


РУССКОЕ ПОЛЕ



В НОМЕРЕ:

АНДРЕЙ ДОБРЫНИН. Стихи

ТИМОФЕЙ СЕРГЕЙЦЕВ. Пушкин о Петре:

Заметки на полях

ЮРИЙ КУЗИН. Тринокуляр : Люцифериада,
выдержки из трактатов

О. НАФАНАИЛ (БОБЫЛЕВ). Благодатная
Благинина

№1
2023

Литературно-публицистический журнал 16+

РУССКОЕ ПОЛЕ

Выходит ежеквартально

Номер выпущен при финансовом содействии аналитического агентства VANGELIS PROJECT

Главный редактор:

Ольга СОКОВА

Редколлегия:

Алексей КОНДРАТЕНКО — публицистика

Татьяна МЕЛЬНИКОВА — поэзия

Ирина МАЛАФЕЕВА — проза

Ответственный секретарь — Елена Ковалева

Технический редактор — Марина Самошкина

Редакционный совет:

Анастасия БОЙЦОВА

Игорь ЗОЛОТАРЕВ

Вячеслав ЛЮТЫЙ

Анатолий ЗАГОРОДНИЙ

ББК 92

ISBN 978-5-6048306-7-3

№1
2023
ОРЕЛ

В НОМЕРЕ

ОТ РЕДАКЦИИ		3
ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЯ	Игорь Золотарев Поэтика Леонарда Золотарева	4
ПОЭЗИЯ	Андрей Добрынин Анастасия Бойцова Ирина Малафеева Антон Бушунов Дмитрий Ревский Елена Кепплин	9 17 23 29 33 39
ПРОЗА	Валерий Протасов <i>Рассказы</i> Анна Туманова О приближении к Идеалу. <i>Повесть</i> Владимир Вещунов На траверзе любви. <i>Рассказ</i>	44 52 66
«ХРУСТАЛЬНЫЙ РОДНИК»	Екатерина Годвер <i>Стихи</i> Алексей Шупиков Обещание. <i>Рассказ</i>	73 79
«ТРИНОКУЛЯР»	Юрий Кузин Люцифериада. <i>Повесть</i> Тринокуляр, А-типичная ангелология: TRAVELLING Серафима/ zoom Сатаны <i>Фрагменты трактатов</i>	86 98
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ	Иеродьякон Нафанаил Благодатная Благинина Марианна Комова О прототипах лесковских праведных иконописцев: Никита Рачейсков и иеромонах Иринарх	111 120
ИДЕОЛОГИЯ	Тимофей Сергейцев Идеология государства Петра I в изложении и понимании Пушкина	131
ПУБЛИЦИСТИКА	Алексей Кондратенко За далью непогоды. Памяти Вячеслава Горбачева	149
ОЧЕРКИ И МЕМУАРЫ	Людмила Иванова-Преснова Пальнянка. <i>Рассказ-очерк</i>	156
ЭХО-КАМЕРА	Ольга Сокова Робинзон духа. Воспоминания об отце Будимир Роговой О самом главном. Новые стихи Николая Перовского Николай Перовский <i>Стихи</i>	173 177 183
НАШИ АВТОРЫ		189

ОТ РЕДАКЦИИ

На первой странице литературного журнала часто помещают информацию о начале его пути: «Издается с...» или «Основан в...». Мы не выносим дату основания отдельной строкой. Слишком короток путь и тонка нить, на которой держится существование издания. И все же история у «Русского поля» есть.

Инициатором этого, как теперь принято говорить, «проекта» был орловский писатель: прозаик, поэт — Леонард Михайлович Золотарев (1935-2020). И было Леонарду Михайловичу на момент основания журнала 80 лет. Начало, как известно, «лиха беда», нет ничего труднее, как стронуть с места новое дело. При том создать журнал в 2015 году — вовсе не то, что в 1932-м или 53-м. В те времена периодическое издание могло возникнуть только с благословения государства, которое в свою очередь не представляло себе журнала без помещения редакции, коллектива редакторов и непременно секретаря. Ничего этого не было у Леонарда Михайловича. Но у него были жизненный азарт, преданная семья и профессионализм.

История «Русского поля» заставляет вспомнить притчу о старике, сажающем яблоню. Разница в том, что деревце — существо довольно самостоятельное, журнал же существует только человеческими усилиями. По смерти Леонарда Михайловича, главного «двигателя» издания, дело постепенно заглохло. Почти умерло...

Так получилось, что команда, задумавшая его возродить, имеет мало общего с прежним журналом, с его «почвеннической» ориентацией и стремлением сопрячь под одной обложкой трепетную лань изящной словесности и коня сельскохозяйственной проблематики. То, что легко получалось у Леонарда Михайловича, продолжателя традиции «деревенской прозы», вряд ли может быть восстановлено.

Предлагаемый номер — это «новый извод» или «Русское поле — II». С прежним его объединяет локация, участие ряда авторов и, конечно, название.

«Поле» — одно из самых широко и разнообразно используемых слов нашего языка. Если в начале название журнала должно было указывать на связь поэзии и крестьянского труда: слова и почвы, то в нынешнем варианте под полем понимается скорее пространство гуманитарного дискурса: силовое поле русской мысли и речи.

В перспективе журнал видится местом взаимодействия поэтов, публицистов и ученых-гуманитариев. Первые шаги в этом направлении сделаны в предлагаемом номере, где присутствуют образцы высокой лирики (можно перечислить всех представленных на страницах поэтов), идеологических и философских высказываний (Т. Сергейцев, Ю. Кузин), литературоведческих изысканий (о. Нафанаил, М. Комова). Объединяющей линией, призванной смягчить пестроту, можно считать тему памяти: отзвуков прошлого в настоящем. Номер открывается и завершается мемориальными материалами. Памяти Вячеслава Горбачева посвящен очерк Алексея Кондратенко. Пронзительно звучит ностальгическая нота в очерке Людмилы Ивановой-Пресновой. Эмоционально окрашенные воспоминания лежат в основе «Люцифериады» Юрия Кузина. Теме связи прошлого и настоящего — в политическом и историческом масштабе, посвящен материал Тимофея Сергеева.

Возможно, тема связи времен станет одной из сквозных для журнала. Однако он не будет посвящен одной теме или направлению. Редакция надеется привлечь к сотрудничеству талантливых авторов, работающих в разных жанрах и освещающих широкий круг вопросов. Важно стремление к изучению и обогащению русской словесности и культуры в целом. Хочется сделать «Русское поле» журналом одновременно ярким и глубоким. А главное, максимально интересным для вдумчивого читателя.

Но пока мы лишь надеемся на успех и ждем от вас пожеланий удачи.

ИГОРЬ ЗОЛОТАРЕВ

ПОЭТИКА ЛЕОНАРДА ЗОЛОТАРЁВА

Леонард Михайлович Золотарёв — поэт, прозаик, драматург, композитор. Неукротимая творческая энергия сочеталась в нём с трудолюбием и самодисциплиной. За свою жизнь он написал и издал 34 книги. Мир, созданный его литературным талантом, полнокровен, многогранен и многозвучен.

Когда-то Марина Цветаева сказала о Сергее Есенине, что он мало жил, но пропел нам песню. Леонард Михайлович подхватил есенинскую мелодию. Не случайно он вошёл в профессиональную литературу с книгой, названной «Берестяные песни». Уровень представленных в ней рассказов был по достоинству оценён орловскими литераторами. И в 1973 году Леонард Золотарёв был принят в Союз писателей. Всё его дальнейшее творчество — песня о России, о судьбе родных мест, о том, что составляет смысл жизни и предмет чаяний русского человека.

Поэт и музыкант Виктор Садовский точно отметил, что «литературные произведения Леонарда Золотарёва, будь то проза, драматургия или поэзия, пронизаны музыкой и даже развиваются по законам музыкального искусства»¹.

Книга «Вечерний звон» (Орёл, 2008) подводит итог многолетних поисков и достижений Леонарда Золотарёва как поэта-песенника и композитора. Сочинение песен было не просто увлечением, но глубокой внутренней потребностью. К большинству стихов сборника он написал мелодии сам, многие тексты положены на музыку Виктором Садовским. Показательно наблюдение, сделанное последним о Золотарёве-композиторе: «его мелодии рождаются сами, одновременно с текстом, и в этом смысле он сродни античным аэдам или древнерусским певцам-сказителям»².

Хочется процитировать текст одной из песен сборника: Судьба-судьби-нушка.

Под ивой под плакучей под молоденькой,
Под синим камнем в сердце Хомутово,
Лежит орловский казачок Володенька,

1 Садовский В. Ф. Музыка его души. /«Орловский Вестник», 20 февраля, 2010 г.

2 Там же.

Спит крепким сном у камешка крутого.
Мы в чистом поле волю ищем...

В сюжете и образах песни чувствуется переключка с известным стихотворением Артюра Рембо «Спящий в ложбине». И это не случайное совпадение — вот строки из перевода этого стихотворения Рембо, сделанного Леонардом Михайловичем:

...И бледен он, и в тело входит холод,
От запахов уж ноздри не трепещут,
И рядом два пятна краснеют, плещут.

Первая книга стихов Леонарда Золотарёва «Глаголы» вышла в 1992 году. Этот небольшой сборник можно назвать программным. Темы, обозначенные в нём, развивались на протяжении всей творческой жизни автора. Само название книги говорит о многом. Глагол — часть речи, передающая движение, действие, выражающая активность. Он и сам активен, как стержень и движущая сила речи. Не случайно именно «глагол» — ближайший синоним «слова». Слово же — главный инструмент и оружие поэта:

Слова, слова, а нужно лишь одно.
Своё на вес, на цвет, на вкус и запах.
В строку улечься, в ритм войти должно —
Пружинистое, как сердечный клапан.
...
Глаголь же, совесть! Плавь родную речь!
Цели и рань, вставай и падай снова.
Хоть каждый день клади себя на меч,
Чтоб остро было, живо было слово.

Конечно, здесь нельзя не заметить переключку с «обжигающим сердца» глаголом Пушкина.

Эта отзывчивость Музы, её бесстрашная готовность вступать в диалог с великими писателями заметна и в прозе Леонарда Золотарёва. Именно в прозаических текстах его творческая энергия нашла себе наиболее естественный выход. Рассказ «Земля моя добрая», открывающий книгу «Липа вековая» (Орёл, 2002), начинается с эпиграфа, взятого из известнейшего памятника литературы XIII века — «Слова о погибели Русской земли»:

О светло светлая и красно украшенная земля Русская!
Многими красотоми ты нас дивишь: дивишь озёрами многими,
реками и источниками местнотимыми, холмами высокими,
дубравами чистыми,
Полями и сёлами чудными... Всего ты исполнена, земля Русская...

А вот начало самого рассказа: «Кленовым листком лежит в глубинной России земля моя с прожилками речек и большаков, на песчанисто-соломенной ткани полей, в шелестящей недрёме дубрав. Она — каких, верно, немало, а вот поди-ка отъежь, оторвись от неё хоть на время, нагрустишься, измучишься, станешь откидывать дни, километры: ну когда же, когда она за вагонным

окном?». Ощущается внутреннее родство неизвестного предка, свидетеля огненной и кровавой эпохи татарских набегов, и его потомка, наблюдающего наступление индустриальной эры, но также глубоко любящего свою землю и переживающего за её судьбу.

«Земля моя добрая» — не столько рассказ, сколько эмоциональное размышление о загадочной внутренней связи земли — человека — слова. Как сверкающими самоцветами, любителю автор названиями деревень орловского края. Через их имена народ выражает чувство почвы, единства, правды: «Высоко одаряло крестьянское вече щедрый труд на земле. Потому нарекало селения именами такими, что и взглянуть на них хочется, а не то, чтоб в них жить: деревни Трудолюбовка и Счастливка, Желановка, Приятная, Щедровка, поселки Приволье, Раздолье».

Этим талантом именованья, который так восхищал Леонарда Золотарёва в простых русских людях, он и сам был одарён в высшей степени. Достаточно перечислить названия его рассказов: «Ключ — колодезь», «Перепелиное поле», «Берестяные песни», «Черёмуховы холода», «Глинописец», «В парке старинном», «Мёд из подснежников». Эти «имена» сами являют ряд созвучий и образов, приглашая читателя приобщиться к миру, созданному автором.

«Липа вековая» не просто название древа или строка из народной песни. Это символ, намёк на несовершенство бытия и быстротечность жизни, переживание несвершившегося. Такая ассоциация возникает при соприкосновении с творчеством писателя от тонкого настроения его произведений. За их временными пределами и прострациями рождается гармония земной реальности и инобытия, за текстом осознается глубинный подтекст.

Проза Леонарда Золотарёва реалистична и в то же время тяготеет к романтическому усилению, лиризму, дышит теплом. Так, в рассказе «Берестяные песни» главный герой славится необычным искусством подражания птичьему пению. Этот персонаж, работая почтальоном и доставляя людям добрые вести, также обогащает их мир музыкой. Погружаясь в гармонию высших сфер бытия, простой почтальон забывает о собственных невзгодах.

В рассказе «Звезда между яблонь» живут и соседствуют люди земные. Но судьбы их связаны с небом, с ощущением чего-то высокого, надмирного, и потому они несколько странны, таинственны. Главный герой Архип смотрит на рассвете сквозь яблоню на звезду поднебесную. Как когда-то и отец его смотрел на нее — звезду «странноприимную», что-то предчувствуя, предощущая. Тонкая ниточка, едва уловимая связь, роднящая поколения. Не только на прагматику способен герой рассказа Ковшевой, но и на олицетворение памяти, на жизнь в мире духовном, в истине одухотворения. Не будь этого, не был бы он и просто человеком, хорошим специалистом, агрономом.

Тема связи дольного и горнего миров, раскрывающаяся через судьбы и поступки обычных трудящихся людей, дополняется в творчестве Леонарда Золотарёва другой, не менее важной для него линией — вопросом русского самосознания и характера.

Здесь хочется привести в пример рассказ «Перепелиное поле». Крестьянин Михей, сам чувствуя недопомогание, спасает крошечных перепелят из-под

колёс трактора. Этот человек лишён пафоса, прост и безыскусен — поступок, который он совершает, не принесет ему одобрения. И всё же он решается поднять свой голос в защиту природы, её малых созданий, против колхозной власти. Сердечность, неравнодушие, способность забыть себя в заботе о слабых и нуждающихся в помощи — вот лучшие качества, которые выделяет Леонард Михайлович у русского человека. Но эти качества могут сохраняться только благодаря связи с природой, землёй, с живыми существами, радующимися солнцу. Горькое переживание утраты этой связи — также постоянная забота писателя.

В рассказе «Ключ-колодец» выведен ещё один положительный русский тип. Иван Иванович Корнеев после лагеря возвращается в родные края и, помогая людям, копает колодцы, даёт народу живительную влагу, как надежду на лучшую долю. После суровых испытаний он находит в себе силы делать добро. Попав в беду — в завал, оказываясь один на один с подземной мглой, он до самого конца не впадает в отчаяние.

Герои Леонарда Золотарёва способны на поступок, даже на подвиг. Что выглядит выпукло, зримо; самоотверженность их необычна и в то же время естественна, как естественна и жизнь каждодневная, нравственная, держащая нас над рутинной.

С точки зрения понимания эстетики и поэтики прозы Леонарда Золотарёва интерес представляет цикл новелл «Седмицы».

Седмица по-старорусски — семь календарных дней, неделя. Здесь мы снова сталкиваемся с диалогом-переключкой с предшественниками. На сей раз — это итальянец Бокаччо. Подобно тому, как в «Декамероне» повествования вписаны во временной отрезок десяти дней и замкнутое пространство загородной виллы, в «Седмице» семеро молодых людей неделю сидят на колокольне на Перуновом холме (в месте как бы дважды сакральном) и рассказывают друг другу истории. Некоторые из этих историй имеют реальный, а некоторые — фантастический и даже мистический характер.

Стиль «Седмицы» в чём-то соотносится со стилем Андрея Платонова. А сюжеты исполнены в романтическом ключе. Но где проявляется концентрация речи для выражения ирреального мира, так это в авторских наблюдениях и замечаниях — свидетельствах мироощущения. Стиль «Седмицы», приподнимаясь над реальностью, приобретает духотворность, чувство соприсутствия ирреального, отстранённого мира. Это уже элементы иной эстетики, черты романтического реализма, когда фраза усилена, эмоционально насыщена, сконцентрирована на таинственности, загадке, фантастичности в человеке и мире, которую следует разгадать. И этому разгадыванию тайны бытия, как главной задаче нашего существования, способствует знакомство с творческим наследием Леонарда Михайловича Золотарёва.

АНДРЕЙ ДОБРЫНИН

* * *

Одиночество как-то ослабло,
Я уже не один на Земле,
Ведь бутылка мальвазии черной
На моем громоздится столе.

Ведь она — из Апулии родом,
Ну а с кем бы я, собственно, смог
Обсудить апулийское солнце,
Белизну апулийских дорог,

Обсудить апулийские сосны,
У которых под пологом хвой
В белоснежных слоистых обрывах
Пробивает пещеры прибой,

Обсудить апулийские храмы,
Их скупые прямые углы,
Штукатурки соленую охру,
Ближних пиний кривые стволы?

Люди жили, смеялись, — а ныне
Впали в черный глухой водоем,
И лишь с черной тяжелой бутылкой
Я навеки остался вдвоем.

* * *

От мечтательных женщин не ждите добра,
Не пленяйтесь обманчивой их красотой.
Вы привыкнете к счастью, но грянет пора —
И они повстречаются в жизни с мечтой.

С них былое осыплется, словно кора,
Вы покажетесь личностью мелкой, пустой.
Та, что ангелом чистым порхала вчера,
Оглушает сегодня вас бранью густой.

К вам уже не вернуться счастливые дни,
Ведь мечтательным женщинам всё нипочем
В их стремлении прочь от житейской тщеты.
А поэт, в чьи объятия стремятся они,
Улыбается горько — он знает о том,
Что обманчивость — вечное свойство мечты.

* * *

Пусть мне телесной красоты не дал Зиждитель Бытия,
Но властно взоры всех людей к себе притягиваю я.

Пускай негромок голос мой, но умолкают все вокруг,
Коль в шумном сборище людском вдруг речь послышится моя.

Сквозь мир, пугающий других, я без боязни прохожу,
Хоть жизнь скитальца в море зла — всего лишь утлая ладья.

Пусть люди, как во власти чар, взыскуют жалких благ мирских,
Но появление мое выводит их из забвения.

Пускай темно я говорю, но мой язык понятен всем,
Ведь все сошли в земной предел из поднебесного жилья.

Я на арабский ясный лад перевожу иную речь,
И вот — влилась в людской язык пьянящей музыки струя.

Не спрашивай, о Неджефи, зачем ты создан был таким —
Блюди Закон, что дал тебе необъяснимый Судия.

* * *

Сквозь листву я вижу в сквере,
Склонный к зрительным причудам,
Как силван теснит пастушку,
Чуть покачивая удом.

В старом парке приглядеться
Повнимательнее надо,
И увидишь: в кроне дуба
С фавном возится дриада.

Из окошка электрички
Вдруг увидеть доведется:
Нимфа в рожице тенистой
Трем сатирам отдается.

Глянь: Силен, мертвецки пьяный,
За рулем автомобиля
Мчит хохочущих вакханок
В храм ночного изобилья.

Так, поскольку склонна грезить
Гармоническая личность,
Полнокровному мужчине
Всюду грезится античность.

* * *

В волосах твоих — запах полдня,
Запах щедрого луга летом.
Мою душу покоем полня,
Ее мирит он с целым светом.

Свет жесток, но он не всемогущ,
Он не ступит туда пятою,
Где кипит, безмерно обилен,
Золотой массив травостоя.

Есть пространства отдохновенья,
Где живут мечта и свобода,
Как живет аромат забвенья
В волосах твоих цвета меда.

* * *

Где тот португалец из песни,
Которого дама любила?
Увы, он скончался от пьянства,
И временем стерта могила.

А где же та дама из песни?
Раскрыла объяття другому,
А он ее деньги присвоил
И с ними сбежал в Оклахому.

И дама за ним устремилась,
Но кончились деньги. Пришлось ей
Трудиться в борделе, в котором
Она называлась Федосьей.

Там встретил ее композитор
И с ней обошелся по-свински,
Но песня зато написалась,
А песню исполнил Вертинский.

И, значит, оправданны были
Страдания всех персонажей,
Но все-таки жаль португальца —
Ведь был он усатый и ражий,

Светился большим обаяньем,
Особенно выпив портвейна,
И с каждой зажиточной дамой
Он вел себя благоговейно.

И было поэтому подло
Так быстро забыть португальца —
Не зря он грозит из-под грунта
Посредством костлявого пальца.

* * *

На кроны лепные парка
Ложится смуглый закат,
И звонко, словно под аркой,
Везде голоса звучат.

Но есть лишь чистое небо,
Есть только смуглый покой,
А сводов видимых нету,
И арки нет никакой.

Мы их воздвигаем сами
Из всех переключек дня,
Шагами и голосами,
Как каменщички, звеня.

С годами освоить надо
Расчеты, циркуль, отвес,
Чтоб дни сомкнулись в аркаду,
Ведущую в глубь небес.

* * *

Тяжелая бутылка с испанским коньяком,
И комната пропахла заморским табаком.
Бананы, апельсины и пепел на столе,
И господа поэты уже навеселе.

По улице во мраке бегут огни гуськом,
А от щелястой рамы всё тянет холодком,
И делается зябко — как будто в мертвой мгле
Плывем мы, чуть качаясь, на утлом корабле.

Последнюю копейку мы ставим на ребро
И снова опоздаем к закрытию метро.
Пора бы расставаться — но страх не превозмочь:
Как мало нас, о Боже, и как огромна ночь!

И вновь, пока трамваи не прознобят Москву,
По волнам опьянения с друзьями я плыву.

* * *

Шли мы лесами и кручами горными,
Шли берегами студёных озёр,
Чтоб меж камнями оплавленно-чёрными
Дымчато-синий увидеть простор.

Трудно с пространством недвижимым справиться,
С чащами леса, с камнями, с песком,
Чтобы от косности здешней избавиться
Вечно текущем пространстве морском.

Трудно пройти через землю постылую,
Ту, что без счёта границ родила,
Чтоб безграничность великою силою
В душу и в плоть через очи вошла.

Скальда, поспеши, чтоб со здешнею гаванью
Нынче расстаться тебе удалось:
К дальнему Западу в трудное плаванье
Не уходил ещё Кетиль Лосось.

От неподвижности, дух угнетающей,
Поторопись к побережью земли —
Конунга Харальда люди пока ещё
В тихих фиордах смолят корабли.

Жаждою воли к волнам увлекаемый,
К спешному шагу себя приневоля —
Кузницы викингов звон несмолкаемый,
Взвизги железа вызывают оттоль.

Если же клики слышишь прощальные,
Если завидишь отплытье, — тогда
Песню зачни, чтобы отзвуки скальные
Перенесли её вмиг на суда.

И превозмогут пловцы нетерпение
Радостно бросить юдоль берегов,
Только слышат призывное пение,
Опередившее немощь шагов.

Взвейся же, песнь, заозерная узница,
Зыком призывным наш гнет размечи —
Грозного конунга звонкая кузница,
Знаю, и нам закалила мечи.

* * *

Ветер летит от теплых морей,
Ветвями щелкает сад.
Идет на север святой Андрей,
Как двадцать веков назад.

Синеют ложбины среди полей,
Речной зеленеет лед.
По южной трассе святой Андрей
В простом обличье идет.

Не всякому вести ветра слышны,
Но я легко поклянусь,
Что каждый день с приходом весны
Апостол идет на Русь.

Должно быть, странно явиться из
Пригина, где Свет и Бог,
Чтоб видеть черные бревна изб
И черный снег у дорог.

Однако нельзя в раю опочить
От пастырского труда:
Ведь раз навсегда нельзя научить,
И надо учить всегда.

И снова надобно обойти
Так много знакомых мест,
И снова маячит в конце пути
Косой андреевский крест.

Когда тебя в толпе приютят
Скрещенья русских путей,
Тебе запомнится чей-то взгляд,
И это — святой Андрей.

Весной выходи; ползи, колеси —
Но путь не бойся начать.
На то и скитания по Руси,
Чтоб этот взгляд повстречать.

* * *

Геккон застыл на потолке,
Как геральдический дракон.
Он ест противных комаров,
Ведь он полезный, наш геккон.

А я питаюсь сам собой
(При этом, правда, пью коньяк),
Я ем себя, и, постарев,
Я тоже образую знак.

К чему геккон? Чтоб мошек есть.
К чему поэт? Понять нельзя.
Стремясь меня истолковать,
Едва не спятели друзья.

И плюнули, сказав, что я
Мух не ловлю уже давно,
И перестали мне давать
Взаимы на хлеб и на вино.

Но если воздухом дышать
Они выходят на балкон,
То я в их небесах плыву,
Как геральдический дракон.

Зачем плыву? Нельзя понять.
Куда? Неведомо пока,
Но с грозным видом, словно мух,
Порой глотаю облака.

АНАСТАСИЯ БОЙЦОВА

* * *

Рубашка порвана. Камзол распахнут.
И кровь стекает струйкой по бедру.
Отчаяние ладаном не пахнет.
Со мной покончено, Гораций, друг.

Мои кишки и жилы намотало
На шестерни невидимых кулис...
Пусть подождут четыре капитана,
Они на сцену рано поднялись.

Пусть подождут. Тебе разбавить нечем
Мою неразведенную вину.
Боюсь, что я с отцом уже не встречусь
И призраком на сцену не вернусь.

Боюсь, не шпага это совершила,
Не рок и не король. Никто другой,
Как декорационная машина
И пьяный дуралей у рычагов.

Боюсь, что смерть по сути так нелепа,
Что только оскорбит служенье муз.
Боюсь, что целый зал вернет билеты,
Когда я на поклон не поднимусь.

* * *

И вот, словно взмыленного коня
С пещерами впалых скул, —
Идёшь по городу — загонять
Ошпаренную тоску.
И вот, зажимая тебя ещё
В сквозных нетвёрдых когтях,
Кривые стремнины ночных трущоб
Тебе навстречу летят.
И вот, поглощая твои шаги,
Струится синяя тень...
Не знаю, бывает ли выше гимн,
Но не завещаю тебя другим,
Мой сон в моей темноте,
Где небо — сверкающий свиток нот
Над серым клочком сукна —
Но в каждом городе есть окно,
А может быть — два окна...
И сквозь аромат машин и костров,
Сквозь пряные своды лип
Я все перфоленты оконных строк
Вычитываю вдали.
И это мерцанье земных планет
Такую наводит жуть,
Что воют собаки, осатанев,
А я на окно, которого нет,
Сквозь собственный сон гляжу.
Моя удача, мой переплёт,
Моё немое кино,
Мой город, что сонную воду пьёт,
Как тощий чёрный щенок,
Мой суший бред, бредовая гиль,
Где я, плаща не надев,
Всю ночь ненасытно черчу круги...
И я не желаю тебя другим,
Болото моих надежд!

* * *

Отпусти мой народ! — и нет тишины бездонней,
 Отпусти мой народ! — и снова лишь ты и он.
 Ты совсем невелик — уголек на Божьей ладони,
 Одинокий проситель меж лотосовых колонн.
 Отпусти мой народ! — его ничем не умастить,
 Но тебя ведь тоже ничем — недюжинный сорт!
 Ты оперся на посох. Глядишь в державную маску,
 Маску будущей мумии в этой стране мертвецов.
 Отпусти мой народ! Из грязи нильского устья,
 Из-под сытного гнета — в чистойшую из пустынь
 Отпусти мой народ! Я знаю, ты не отпустишь.
 Чтоб тебе вовек не узнать меня — отпусти!
 Отпусти мой народ — бездомный, нищий, гонимый.
 Для тебя это ново? Но это, как мир, старо:
 Ты не слышишь волны? То голос вещего Нила,
 Голос крови твоей земли: Отпусти народ!
 Отпусти мой народ, своим богам повинуюсь;
 Разве ты не слышал? Во тьме захватило дух:
 На пологом холме шакал — а, может, Анубис, —
 Заливается песней печали, чую беду.
 Отпусти мой народ! Глупец, кичащийся расой, —
 Эта раса исчезнет и новые станут быть...
 Отпусти мой народ — народ, отвергнувший рабство,
 Ибо с этой минуты рабы — не твои рабы!
 Отпусти мой народ — а там какими путями
 Поведу его я — уж это наши пути!
 Отпусти мой народ. Отпусти его, египтянин,
 Не дано удержать того, кто хочет уйти.
 Отпусти мой народ туда, где раскинем лагерь,
 Где уходит Синай в глубину грозовых небес.
 Отпусти. И не надо петь о нашем же благе.
 Мы найдем наше благо, а это — оставь себе.
 Нет, не Бог оковал твой ум броней господства,
 Нет, не Бог диктовал твое безумное «нет»!
 Отпусти мой народ! Как этот брошенный посох,
 Кровь египетских первенцев пала на твой венец.

* * *

Так вот и ходишь — ни зло, ни улада.
Неприглашенный на здешнем пиру.
Так вот и ходишь — калиф по Багдаду,
Неузнаваемый ночью Гарун.

Платьем задели, окликнули, или
Кров разделили с тобой пополам, —
Знали бы, нищие, с кем говорили!
Знала бы, женщина, с кем ты спала!

До невозможности к вам притираясь,
Сердце смеется и падает дух:
Если бы знали вы, с кем препирались
Из-за объедков в обжорном ряду!

Если бы знали, — за кислыми шами
Не замечавшие шепота лет, —
Если бы знали, кого поучали
Жить на е г о, а не вашей земле!

Вы, чьи года исчисляются днями,
Чьи обольщения — глина из глин;
Если б вы знали, кого соблазняли
И отчего соблазнить не смогли...

Так вот и ходишь — в оборванном гиде
Уличном прячась за жалкий барыш, —
Так вот и ходишь; и слышишь, и видишь,
И притворяешься, что говоришь.

Мир, вдохновленный отсутствием даты,
Старый базар дарового жилья,
Если бы знал ты, какой соглядатай
Бродит по пыльным твоим колеям!

В ношеном платье, в одолженном теле,
Странном — и явно с чужого плеча, —
Так вот и ходишь — неузнанной тенью
По бесконечным багдадским ночам.

Не оставляя ни дома, ни сына,
Не подвизаясь на поприще дел,
Так вот и ходишь — пожизненный ссыльный —
По балагану своих площадей,

Не приближаясь к застолью со снедью,
Вьется в пыли исчезающий след...
Зная, что мир посмеется последним,
И никогда не наступит рассвет.

* * *

Благодарю Тебя за все мое богатство:
За руки и за слух, за упоенье глаз;
За яркость красоты, которая угасла,
За яркую судьбу, что так и не сбылась.

Благодарю Тебя за вкус воды и хлеба,
За запахи земли, за звонкость мостовых;
Благодарю тебя за каждого, кто не был
Моим, но мог им быть; за шорох той травы,

Которую скосить рука моя не властна,
Но властна все же знать ее упругий вкус;
За вкус горячих губ — и за незнание ласки;
За все, что не манит; за все, к чему влекусь;

Благодарю за свет, за звук, за осязание,
За голос и гортань — за чудо из чудес;
За влагу и за соль, что мы зовем слезами;
За сон — последний дар, который знаем здесь.

За похоть и любовь — единственные звенья,
Способные связать несвязанную нить;
За голод и еду; за память и забвение;
За дар молчания и прелесть болтовни;

Благодарю за речь — за трепетный, нервный
Ток этого моста — от нищего к царю!
Благодарю за свет. Благодарю за воздух.

И все-таки, за смерть — стократ благодарю.

* * *

*Куда собрался, капитан,
Куда ты, брат, собрался?
Ю. Ким*

Наша везде пропадала. Но где бы она не пропала бы,
Как бы безумный ветер жизни нас не крутил,
Дай нам Господь капитанов, что не покинут палубу
И не позволят сбить себя с истинного пути!

Тот, кто всегда один — но за каждого против тысячи,
Выброшенного на палубу волей житейских вод;
Кто бы не звал такого на помощь — помощь отыщется,
Хоть все Армады мира будут против него!

Тот, к кому приползаешь разбитый, усталый, раненый,
Чтобы опять, воскреснув, плыть навстречу заре;
Тот, кто — лишь попроси — назовет тебе звезды на небе
И расскажет предания ста двадцати морей.

И для любых свершений в сердце достанет дерзости,
И, как скала, — справедливость среди кипения вод...
Может, на трех китах, действительно, мир и держится;
Ну, если так, выходит — мы видели одного.

Наша везде пропадала. И где бы она ни пропала бы,
В старой знакомой луже или в краях чужих,
Дай нам Господь капитанов, что не покинут палубу,
И... сохрани нас Бог однажды их пережить.

Так вот оно бывает. Шторм снастей не выламывал,
Ветер из парусины мокрых не рвал полос...
Сердце — то, что вмещало всех утопавших на море,
Что, по словам врача, на кусочки разорвалось.

Но направляя судно в житейскую несусветицу,
Правя к пиратским отмелям или к иным местам,
Я почему-то знаю, что мы когда-нибудь встретимся.
Ваш караван в дороге. Ждите, мой Капитан!

ИРИНА МАЛАФЕЕВА

ПРО ПТИЦ

Было просто: вкусили
боли — плачем, а счастья — поём.
Птица горечи — Сирин,
Алконост утешает печаль.
Есть синица в руках —
не гоняйся за журавлём.
Есть вопрос на устах —
кукушке, знать, отвечать.

Эта птичья ватага
всё ещё в вышине поёт,
устилает дороги
невесомым своим пером.
Только — чувствуешь? — август.
Приближается перелёт,
и осенней тревоге
замереть под чужим крылом.

Кто земное теперь
в неземной облечёт мотив,
донесёт до небес
и вернётся, чтоб гнёзда вить?
Певуны улетели,
зимовать остался в груди
только раненый пересмешник.
Ни вылечить, ни убить.

О ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

На камне у входа в храм
 Нас много, но мы вдвоём.
 Я прихожу с утра,
 Как только солнце встаёт.

Я приношу батон
 И говорю: Привет!
 Мир, это твой закон —
 Спросившему дать ответ.

Лишь преломили хлеб —
 Голуби тут как тут.
 В сизой соборной мгле
 Свечи огнём цветут.

— Зачем ты меня позвал
 в зеркальные миражи?
 — Зачем ты меня поймал,
 Как бабочку, в эту жизнь?

Касаясь тебя плечом,
 А иногда — рукой,
 Знаю: это — не в счёт.
 Помню, кто ты такой.

Только в твои глаза
 Как заглянуть посметь?
 Ответ получить нельзя,
 Не выпорхнув через смерть.

ДО И ПОСЛЕ

1.

У Бога нервные руки — он ими лепил из глины
 вчера — карасей и касаток,
 сегодня — галок и чаек.
 Во вторник были готовы жирафы, слоны и волки.
 И вроде бы мир прекрасен и можно остановиться.
 Но что-то Ему мешают.
 Он думает: вот бы завтра
 слепить необычное что-то...
 И засыпает счастливый,
 зажав в кулаке забытый
 кусочек обычной глины.

ДО-ПОТОПНОЕ

2.

Вот живёшь ты и думаешь: мир велик,
 а он вдруг оказывается мал и хрупок.
 Приходит гроза, заливая дождём материк,
 гром в огромный сигнальный рупор
 грозно требует покинуть его территорию.
 Если выживем — попадем в учебник истории.
 Почувяв такое, Ной
 прихватил топор, побежал в сарай.
 Неужто, думает, это со мной,
 на мою долю, на мой каравай
 разевает рот то, что больше понимания моего?
 Но я построю ковчег и спасусь.
 И спасу этих тварей, хоть по паре всего.
 Ему хорошо — он сильный, он строить умел и верить.
 А мне, когда всё закончится, как обрести берег?
 Господи, я же девочка, мне не вывезти всех.
 Шансы мои на успех гораздо ниже нуля.
 Когда будет гибнуть всё, что Ты любишь,
 как сможешь пойти на грех
 и не послать ни ковчега, ни белого корабля,
 ни утлого челнока?
 Как Ты хочешь, чтобы я кого-то спасла?
 У меня ведь ни компаса, ни весла.
 У меня только белый голубь в руках,
 доверчив и молчалив.
 Ты прислал мне любовь и страх
 да ветвь с гефсиманских олив.

3.

Потоп окончен. Пахнет чистотой.
 Доволен Бог проделанной работой.
 За трудной пятницей опять пришла суббота,
 и долгожданный наступил покой.

А что же Ной? В прозрачной пелене
 он вновь сквозь хаос бури ищет берег.
 И видит сушу. И в неё не верит.
 И, как безумный, мечется во сне.

4.

После потопа
Греция? Грузия? Ультрамарин и охра.
Беж и миндаль. Слоновая кость и лён.
Боже, так тихо, будто земля оглохла.
Шорох песчинки — новый отсчёт времён.
Боже, так странно: новой идя дорогой,
Мы зажигаем древние маяки.
После потопа переменилось много:
Старые истины — новые языки.

* * *

В полёте над вечерней тишиной
Сквозь сумеречную узорность стёкол
Душа осознаёт, как одинока,
И странно ей становится самой,
Что жизнь горька, а воздух ночи сладок.
Жасмин и цедру щедро источает
Луны лимонный ломтик в чашке чая,
Затерянной на скатерти меж складок.
А на столе не яблоки — черешня.
Для новой Евы чем не плод познания?
Не надкусить — не совершить призыва —
Останешься наивной и безгрешной.
Но искушённый обещает бес,
Что в бочке счастья только ложка яда.
И ты берёшь одну из спелых ягод
И начинаешь долгий путь к себе.

ПАРАДИЗ

1.

Не виноградными лозами —
холодными росами,
не дворцами хрустальными —
щербатыми досками,
гнилыми колёсами
нас встретил обещанный парадиз.
Бесчеловечное вечное возвращение —
круглых каменных жерновов вращение.
Мы не просили простить, не искали мщения,
мы шли вперёд. Что же там, впереди?
Нам бы смотреть в небеса, от дождей белёсые,
и вспоминать чудеса, которые бросили
там, где Отец убирал нас цветами, живыми розами.
Он был капитаном ковчега, а мы — матросами.
А потом мы вдруг сделались злыми, седыми и взрослыми...
Мы думали, Он наказал нас, а вышло, что наградил.

2.

Все, кто помнил о нас, давно легли в облака.
Возраст детства — две тысячи лет плюс земная жизнь.
Перемелется наша мука — может, выйдет мука.
Но пока ты со мной — я надеюсь. Куда спешить?

На изведанной нами земле не осталось дорог,
По которым бы мы не ступали то в пыль, то в грязь.
Отче думал нас наказать — разлюбить не смог.
Отпустил себе все грехи, отпустивши нас.

* * *

Лето встречало нас в бухте, звенело синим,
Сыпало лёгкими звёздами с небосвода
И обещало счастье, влекло свободой,
Щедро делилось отчаянностью и силой.

Пахло дурманом в воздухе и надеждой
На самое светлое — до сиянья почти что.
И ненадолго мы все превратились в мальчишек —
В глупых мальчишек, как хрусткие яблоки, свежих.

Жизнь за пределами лета казалась нечестной.
Наш пароход погудел и отстал от причала.
Кто уплывать не хотел, — превратился в чайку,
В белую птицу с застрявшею в горле песней.

ГАЛАТЕЯ С ПРИВЕТОМ

Здесь меня называют «синьора» и в камне ваяют.
Восемь статуй, двенадцать фонтанов, портреты и бюсты.
Что находят во мне в этой дальней стране? — Калиостро их знает.
Если б я хоть на грош разбиралась бы в ихнем искусстве...

Я по каменным улицам ездила на экипаже,
Мне дарили цветы, говорили «амор» и глазами вращали.
Сеновалов здесь нет. Да и что говорить? Нету мельницы даже.
Полюбила гаспачо, но дюже скучаю за щами.

Здесь, куда ни взгляни, всё художники да камнетёсы.
Я прочла столько вывесок — целую библиотеку.
Только думаю вот: как вы там без меня на покосе?
В общем, еду домой. Поскорей высылайте телегу.

Писано Прасковьей Тулуповой из города Альтос де Чавон

АНТОН БУШУНОВ

* * *

...И чем тебя сегодня удивить..
 Каким-нибудь пейзажем пятистопным... —
 К нам осень добиралась автостопом,
 И бабье лето запускало нить

Паучью. И почти наверняка
 На заднем плане — окна интерната,
 Где в сентябре все лепят облака,
 А к Рождеству отращивают вату.

Придет обыкновенная весна,
 Оттают огороженные «сотки»,
 На речке недостроенные лодки
 И отражение в воде весла...

Но этим тебя вряд ли удивить..
 Опять сегодня выручит лесничий.
 Он переводит с русского на птичий:
 «Я вас любил, тив-тиу, вить-вить-вить..!»

КОШКА

и не надо
ничего мне от вас не надо
гладить не надо
мне надо гадить,
и не надо
меня учить,
где мне гадить

не хочу и не буду
не хочу и не буду

у меня есть дело
какое?
какое надо,
не ваше дело!

Брысь — это кому?!

* * *

Под долгую вьюгу взгрустнулось душе,
Но это, душа моя, зря.
Садовник в каморке готовит уже
Ревизию инвентаря.

Садовые ножницы, лейки — все тут,
И высушен старый гамак.
Еще б уберечься ему от простуд,
А счастлив он будет и так...

Проснулась сирень без особых хлопот,
И, кажется, жив бересклет.
Пока за работой садовник поет,
Он мир избавляет от бед.

* * *

То леший, то старушка шапокляк,
 То просто куст на козырьке подъезда.
 Когда-нибудь здесь спилят тополя
 И станет больше солнечного места.

(Он летописец старого двора,
 Чей инвентарь на чердаке хранится:
 Шинель, огниво, чай из топора
 И на полях испуганные лица)

Нас наблюдает муравьиный глаз
 В каком-то неизведанном формате:
 То Андерсен, дремучий свинопас,
 То Гоголь на крылатом самокате.
 Да кто угодно в этом теневом
 Углу двора тихонько обитает.

И тополь падает на старый дом.

(А он напишет — тополь облетает)

* * *

Так замереть у проточной воды
 (у родника и ключа),
 Чтобы дожить до седой бороды,
 До свежего кулича.

Перед плотиной вода свой ход
 Наращивает, оживая.
 А после плотины — наоборот —
 Разбитая, чуть живая.

* * *

В густом подлеске, за болотом,
 Где зверя лапа не ступала,
 Поблекла хвоя, позолота
 Легко, безропотно опала.

От развалившейся сторожки
 (Не знаю, что здесь сторожили)
 Остались низкие порожки.
 Они опять всех пережили.

ШОПЕН

Музей Шопена. Волнорез.
С утра умеренно штормит;
долги, провинция и бес
в ребро всё время норовит.

Островитянин, сердцеёд,
от современников далёк
на этих скалах. Пляжный плед
засыплют ноты и песок.

На санитарный век музей
закрыт, заброшен палисад.
Шопен играет для друзей,
и звуки клавиш моросят

по балюстраде и крыльцу,
теснит окаменелый плен.
Столкнёмся мы лицом к лицу,
и оба выдохнем — Шопен!



ДМИТРИЙ РЕВСКИЙ

ГОРОД

*..город, где ничего не происходит.
Кроме жизни... Галина Самойлова*

Здесь, в городе, пушисты тополя.
Кому-то время — пух, кому-то — Каин.
Околица запросится в поля,
открыв оконце тонкими руками.
Зажата карамелька за щекой,
в портфеле — тяжело, зато с «пятёркой».
И верещит сорока-бузотёрка,
лепя из новостей сорочий корм.

Здесь, в городе, где свадьба — как кино,
где новости — ползут по-черепашьи,
где завтра и вчера — почти одно,
но ставшее зазубренней и старше,
где скрасит путь «работа-снова-дом»
киоск, и от мороженого — слаще.
Где создано с желаньем и трудом,
а рушится — в простом и настоящем.

Здесь, в городе, где зеркала хранят
не отраженья — поколений списки,
проходит для тебя и для меня
дорога к дням, что счастливы и близки.
Пусть небо после спросит — кто почём? —
а жизнь пройдёт по кругу, словно в вальсе...
Железный век ржавеющим плечом
поддержит город, чтобы не сдавался.

НЕДЕЛИМОЕ НА НЕДЕЛИ

Дни прорастают как секвойя,
и пропадают, словно мысль.
Там, где срастаемся с тобою —
шумит камыш, елозитмышь.

До журавлиных переключков,
до неудавшегося «пусть» —
ещё расти росе и лыку,
ещё считать года и пульс.

Ещё блуждать неуголимо,
своим огнём миры тепла.

У Бога сказочная глина.
И сложенные векселя.

ЮДОЛЬ

Лежать воде, дрожать прожекторам,
шататься нитям дождевых потоков,
искать собаку по пустым дворам,
найти, позвать и обругать жестоко,
смириться с мокрой курткой и зонтом,
брести назад и молча, и привычно,
послушать отзвук дальней электрички,
оставив комментарий на потом.
Открыть подъезда скрипнувшую дверь,
протиснуться, вздохнуть, собравшись с духом,
дождаться зверя (отряхнётся зверь),
погладить зверя по смешному уху,
достать ключи, кофейник отогреть
в розанчике голубоватом газа,
насыпав кофе и залив на треть,
поставить джаз, ведь родом мы из джаза,
в сухом располагаться не спеша,
смотреть в окно на мокнущие крыши
и чувствовать, что ожила душа...

Такие были указанья свыше.

ГРАНИЦА МЕЖДУ

Там, где точку росы слизывает небесный Бык,
 а Коста-Рика — лишь остановка на ночь в пути,
 находится граница с тобой, и я к ней привык,
 как к пониманию того, что в свече — фитиль.
 Мысли утиль собирают по золотнику,
 караты слов вырастают в кораллы дней.
 Там, где, коснувшись пут, ты продолжишь путь —
 лунный охотник своих стережёт коней.
 Трогает гривы им ласковою рукой,
 мысли его далеки от ветров и трав.
 Эту ли сказку шепнул тебе утром кот,
 с мышкой моих желаний не доиграв?

Первой волной умывается берег, жёлт
 в солнечном там, где тесны лежаки теней.
 От поцелуя горит на щеке ожог
 маковым полем в непрожитом вместе дне.
 Наша граница — в непройденной тишине,
 где распускаются ночи в объятьях трав —
 и на вершине горы подрастает снег,
 чтоб рассмотреть все узоры подножных стран.
 Тронешь его — пальцы вздрагивают навзрыд,
 ищут углей, приникают к теплу светил..

Сердце пускает путника в лабиринт.
 Но никогда не подскажет ему пути.

НОЧЬ

Ночь кофе пьёт. Струится за моря
 от чашки пар, туманом убегая...
 Воспоминаний лёгкие края
 касаются пространства меж губами,
 обнимутся, заморозив глоток,
 вливая темноту, чей голос сладок,
 нашёптывая месяцу про то,
 о чём ещё мерещится украдкой,
 но обжигает изнутри теплом,
 где подрастает, заполняя сумрак,
 сокровище хранимых плотью суток...

И шевелит младенческим крылом...

КОГДА-НИБУДЬ

Когда-нибудь, когда мне не до сна,
не потому, что вспомнил имена,
а потому, что в окнах новолунье,
когда мне не тревожно, не светло,
не намело, в тупик не привело,
но движется внутри Котом Баюном...

Когда-нибудь, когда мне не до сна,
мысль, как побег зелёного вьюна,
карабкается на свои шесть соток,
стараясь оглядеться с тех высот,
где пчёлы дня находят мёд для сот,
где влажный луг из трав и листьев соткан.

Когда-нибудь, в какой-нибудь строке
всё будет восхитительно о'кей,
ну а пока — неясно и нежданно.
Стремишься угадать или прозреть,
за три попытки углядев на треть
иронию в улыбке мирозданья.

Когда-то там, где ты уже прошёл
сегодняшнее, будет хорошо,
поскольку веришь в действенность желаний.
И засыпаешь, зная наперёд,
что завтра в нас никто не отберёт.
Да и сегодня — пригodiлось крайне.

НАД ГОРОДОМ

Над городом — серебряная пыль. Поморосит — и снова забывает.
 Неся суровый холостацкий пыл, проносятся вечерние трамваи.
 Окно, в котором взгляду — как в кино, просмотренного —
всесезонно много.

И облако, в котором внуки Бога играют в прятки средь холмов и нор.

Над городом — взъерошенный июнь, не помнящий родства с неделей мая.
 Плотвички стайкой двинулись на юг, Алушту и Анапу приминая,
 косясь на тех, кто вышел на балкон гостиницы, что рылом покалашней,
 любви желая полной, бесшабашной, до цели дотянувшейся рукой.

Над городом — не птицы. Пикассо. Изломанные прочерки деталей.
 Когда бы я рассказывал про всё — читатели уснуть и не мечтали,
 но эти птицы собирают в клин бескрылость мыслей, и уводят к лету,
 а стих — да что тут, — будет первый блин, годящийся для ужина поэту.

Над городом — бесхозная заря: почти что котик, но пестрей расцветкой.
 Ты напеваешь «пам-парам-парям»,
расставшись в пользу кресла с табуреткой.
 Ты куришь так, как будто смотришь вдаль,
где Моби Дик подставил бок и гланды,
 и череда летящих летних дат увить тебя недель гирляндой рада.

И кажется, что сквозь потёртый быт, где суета — привычка городская,
 девятый вал налившийся рябит, белёсой пеной рваною мелькая,
 но ты находишь нужный галс и жест, и, усмиряя бурю по старинке,
 с брабантских вяло-розовых манжет эстетски ликвидируешь пылинку.

Над городом — разлился звёздный ковш,
ночной пуглив и молчалив прохожий.
 Ты выйдешь из миров полубогов, найдя себя на кухне ли, в прихожей.
 Не капитански холодильник пуст, что исключает ужин с жару, с пылу..
 И что же это было, кроме чувств? Но чувствуешь внутри — ведь что-то было.

СЧИТАЯ

Мы склеиваем — по крошке,
расходимся — словно дым.
Любви улетает коршун
цыплят воровать в сады,
где ягоды — красно-свежи,
где арочные мосты,
но только цыплят всё реже
считают осень и ты.

Мы делим себя и время,
то надвое, то дробя,
мы будем казаться теми,
кто ищет в себе себя.
Касаться неосторожно
того, что болит всерьёз,
где коршуны крылья сложат,
а осени — не сбылось.



ЕЛЕНА КЕШЛИН

ЗЕРНО

На землю подниматься из метро,
Ходить по ней с тобой неразлучимо.
В вечернем ослепительном бистро
Смеяться, обжигаясь капучино.

Держать в ладони твой нательный крест,
И комкать из салфетки оригами,
Пока запоминаешь каждый жест
Серебряными яркими глазами.

И руки над столом соединять,
Смотреть и говорить прикосновеньем,
Не ведая, как всё пересказать
Лишь речью, осязанием и зреньем.

И вместе выходить из забытья
В пронизанные осенью потёмки,
Вдыхая шёпот: «Тихая моя»,
Прозрачно выдыхая: «Мой негромкий».

Лелеять, как последнее зерно,
То малое, что в сердце вызревает.
И большего, любимый, не дано.
И большего, любимый, не бывает.

* * *

*...не забудьте утешить меня в
моей печали, скорей
напишите мне, что он вернулся...
А. де Сент-Экзюпери*

...О том, что близко и далёко,
И на земле, и над землёй,
Где так свежо и одиноко,
Как в раннем парке со скамьёй,

Что врыта в землю по колено,
И оттого ещё жива.
О том, как жить обыкновенно,
В деревьях видеть не дрова,

В сухой траве — не гибель. Словом,
Украсить мир одним штрихом.
В своём раю быть змееловом,
Садовником и пастухом.

О том, как вырастить барашка,
Гулять с ним в розовом саду.
Правдиво, сказочно, бесстрашно
Писать у смерти на виду

О том, как чей-то светлый сыне
С лукавой тенью возле ног
В квадратной маленькой пустыне
Печёт рассыпчатый пирог.

Услышать как звонят все звёзды
Без храмов и без звонарей.
Пока он здесь, пока не поздно,
Письмо отправить поскорей

Не кораблём и самолётом,
А лучше ветром и волной.
И тем утешить хоть кого-то
В его печали неземной.

* * *

А мне сегодня не до творчества,
Собаку надо оживить.
И наплевать, что в сердце корчатся
Стихи о вере и любви.

Им хватит ручки и блокнотика,
Но я лечу больных котят.
Стихи слабей антибиотика
И никого не исцелят.

Неравноценные призвания,
Рассудку, воле вопреки,
Не ждут взаимопонимания:
С одним я маюсь от тоски.

Другое — чётко, рассуждающе,
Ведёт меня на ближний бой
За всех мурлыкающих, лающих,
Живущих на передовой.

Я выбираю битву с нечистью
В бессильной мякоти, в кости.
Собаку или человечество
Стихами точно не спасти.

Они во мне — водица мёртвая,
В груди — стрела и в ране — соль.
Непроходимая, упёртая,
Моя хроническая боль.

* * *

Собака цвета осени
Лизнёт твою ладонь.
Давай сердца подбросим мы
В тот ласковый огонь —

В груди на алых веточках,
На тонких черенках.
Мой друг, ты будешь светочем
У осени в руках.

Поэтому достаточно
Мне света и тепла.
Пусть ветер лихорадочно
Разденет догола

Деревья беспросветные,
 Метнув к твоим ногам
 Сокровища несметные
 С тоской напополам.

Собака листья нюхает,
 А ты смотри, смотри
 На осень вислоухую,
 И вместе с ней гори

Без боли и без памяти,
 Но главное — живьём,
 В своём кленовом пламени,
 В рябиновом моём.

* * *

Представь, что это просто фантики,
 А не опавшая листва.
 Ты хочешь плакать, словно маленький,
 И подбирать их, как слова.

Я не могу помягче выразить —
 Они похожи на сердца.
 Наверно, кто-то ровно вырезал
 И режет, режет без конца.

Ещё барахтаются, бедные,
 И бьются из последних сил.
 А ты над ними до победного
 Стоишь. Никто не победил.

Глаза твои чудные, карие
 Пусть никогда не разглядят,
 Как собираются гербарии
 Из угасаний и утрат.

Не проронившие ни капельки
 Застыли тучи над душой.
 Поплачь, но помни — ты не маленький,
 И будешь плакать как большой.

* * *

Давай, пока Ты есть, а я жива
И, кажется, на всё уже готова
Мы крепость возведём из вещества
Холодного и белого, как слово,

Которое не помню, хоть убей.
Однако, в эту тихую минуту,
Яснее становясь и тяжелей,
Оно летит к недолгому приюту.

Не в силу оскудевшего ума,
А в слабости устойчивой привычки
На разум опускается «туман»,
Условно заключаемый в кавычки.

Пока мы продолжаем баловство,
Как дети, увлекаемые лепкой,
Сиротство превращается в родство
С самим собою в крепости некрепкой.

Смотри, нас окружает детвора,
Идущая на приступ цитадели.
Вставай же, всё давно узнать пора
О брызгах подмороженной шрапнели.

Я ранена, в ладони тает снег,
С Тобой соединяющий бескровно.
И «Господи» звучит как «человек»,
Который есть и будет безусловно.

ВАЛЕРИЙ ПРОТАСОВ

Рассказы

ПЕПЕЛЬНИЦА

— Вас там ждёт какой-то человек, — объявила соседка тётя Рита, встретив меня в моей же прихожей. Раз в неделю она приходила убирать квартиру. У нее были свои ключи. — Говорит, из старых друзей.

Она бросила к моим ногам пару новых шлёпанцев. Старые были засунуты под тумбочку. С чего это вдруг, следовало бы спросить. Но я не стал тратить слова. Между нами за годы общения установился телепатический контакт. Я знал ответ тёти Риты: «пришёл новый человек, сколько раз говорила, пора менять эту рвань, что за привычка донашивать обувь до дыр...».

Новые тапки были хуже старых: не то резиновые, не то пластиковые, моим ногам они не понравились. Но полы в прихожей так блестели, в квартире стоял такой запах свежести, что вступать в спор по ничтожному поводу не хотелось.

Тётя Рита на телепатическом языке дала пару советов по поводу потёртого коврика. Я кивнул, на банальном человеческом поблагодарил за уборку, и мы простились.

У двери комнаты я на секунду остановился. Знакомые посещали меня редко. Я слыл среди них не то чтобы нелюдимом, но человеком, который ценит свободу уединения.

Раньше я любил гостей. В квартире толклись порой малознакомые люди, некоторых я видел в первый раз и не собирался увидеть когда-либо ещё. Разговоры о редких книгах, за которыми в то время шла настоящая охота, переходили в споры по поводу романов Гессе или Генриха Бёлля. Дым от сигарет стоял столбом. Пепельница чугунного литья в форме северного оленя вечно полна окурков. Вместе с огненным зельем в кровь вливался яд. Сердце покалывало. От кутерьмы начинала болеть голова.

Время шло, мы выросли, старели, умнели, хотя и с опозданием. Встречи, споры, книжная алчность угасали. Сердцу надоело болеть, легким дышать отравленным воздухом. В конце концов, осталась одна фигурная пепельница, изображавшая оленя с витыми рогами. Она осталась как произведение искусства, но перестала служить по назначению. Редких гостей я приглашал

курить на кухню в окно. Воздух в комнатах стал чище, споров меньше. Если кто и приходил, сначала предупреждал по телефону.

Гость, ждавший меня, не уведомил о визите. Можно было гадать, кто этот незванный молодец. Но я почему-то сразу догадался, кто он.

Коля пропал лет десять назад. Помотавшись по разным случайным местам, разведавшись с женой и лишившись жилья, он метнулся за границу. Говорили, уехал в Испанию, неплохо устроился. Конечно, не стал богачом. Его мечты не простирались так далеко. Нашёл работу уборщика в каком-то доме. Его приняли. Он стал там своим человеком, обрёл место в жизни. Потом будто что-то случилось. Он перестал отвечать на позывные. Некоторые решили, что умер. Но оказалось, они ошибались: вот он передо мной. Такой же коренастый, лысоватый, с курносым русским лицом. Немного бледным для человека, прибывшего из южной страны.

— Salud! Buenos días!¹ — приветствовал он меня.

— Salud!

Я бросился к нему, горячо пожал руку. Мы обнялись. Светло-голубые глаза Коли не отразили сильных чувств. Ну и понятно: прошло столько лет. От рюмочки коньяка он всё же не отказался.

Мы вспомнили прошлое.

— Трудно поверить, какой бедлам бывал в этой комнате когда-то — сказал я.

И стал восстанавливать одну картину за другой:

— Помнишь, как звенели бокалы, вино лилось через край, ночь была не в ночь. Соседи звонили в милицию, песни, гомон, иногда и драки, окурки в пепельнице (сколько она помнит!), дым коромыслом...

Коля кивал сдержанно. Что ж, время берёт своё. А впрочем, ошибиться было невозможно. Это был он, такой же, как и десять лет назад. Ну, почти такой же. Немного постаревший, так что с первого взгляда не бросалось в глаза, немного подсушившийся под знойным андалузским солнцем. Поредевшие светлые волосы были зачёсаны на аккуратный пробор, а не опущены на лоб на манер дряхлеющего патриция или Иванушки-дурачка. Брови выщвели, глаза смотрели печально, не так, как в те годы, когда он выскочил из глухой деревни в город с неиссякаемым запасом добродушного лукавства и оптимизма, выражавшегося в дурашливых шутках. Я не помнил, чтобы он злился или печалился. Заботы и напасти стекали с него как с гуся вода. Их было немало, полуголодных, а то и вовсе голодных дней. Профессии он менял с необыкновенной лёгкостью. То оказывался слесарем-водопроводчиком — сантехником, как тогда начали говорить, то механиком на швейной фабрике, ни в том, ни в другом деле не смысля ни уха ни рыла. Всё как-то обходилось. Вода из кранов не подтекала, швейные станки работали, а если и давали осечку, Коля не унывал.

С такой же весёлой улыбкой расставался он с женщинами, поначалу возлагавшими на отношения радужные надежды.

Он был поэт, хотя и не мнил о себе высоко. Не мечтал о славе, не связывал

¹Привет! Добрый день! (исп.)

с потребностью складывать слова в строфы корысти. Стихи его не отличались изяществом, даже грамотностью. Однако в них была свойственная непосредственным натурам свежесть, а забавные ошибки придавали виршам что-то своеобразное, пробуждая сочувствие к самородочному таланту.

Сидя теперь напротив меня, он то говорил — быстро, импульсивно и возбуждённо по-испански, изредка вплетая в монолог русские слова, то замолкал. Из его речи я почти ничего не понял. Почему мой гость говорил на языке Сервантеса — одному Богу известно. Может быть, привык и призабыл «язык родных осин». Может быть, хотел выглядеть натуральным испанцем. Из всего, что сыпалось из его уст, я понял только то, что он хочет взять у меня одну старую вещь, безделицу, а именно — пепельницу. Я вспомнил, что когда-то покупал её вместе с ним в антикварном магазине на Арбате.

— Да ради бога, Коля! — сказал я. — Вот тебе пепельница. Ты куришь?

Он как-то странно взглянул на меня и тут же отвёл глаза.

— Но, yo no fumo!¹ — замахал руками. — Мне так...

Как же получилось, что пепельница превратилась для него в символ прошлого? Наверное, оно казалось ему прекрасным, как синяя птица молодости, а дым сигарет, которые мы курили, виделся сиреневым романтическим туманом. Не задумываясь, я вручил приятелю потемневшее от времени изделие Кассельского завода. Тётя Рита будет недовольна, когда узнает, что я так легко расстаюсь с вещами. Но, в конце концов, хозяин в доме я.

Коля принял фигурку двумя руками, прижал её к сердцу. На глазах у нас обоих выступили слёзы.

Вечерело. Гость отказался от чая, сославшись на то, что торопится в аэропорт. Я вышел его проводить. Мы прошли шагов десять по улице. Неожиданно он остановился; протянул мне руку, такую же широкую, но не такую тёплую, как в прежние времена.

— Gracias! Muchas gracias! Hasta la vista!² — сказал и исчез во мгле улицы.

Я ошарашено смотрел ему вслед.

— Я ещё вернусь! — донеслось издали.

Или мне это только слышалось?

ЯЩИК ПАНДОРЫ

Многие слышали про ящик Пандоры, в котором сокрыты все беды и несчастья мира. Не дай бог открыть его. Горе тому, кто это сделает. Но не все знают, что в ящичке зла спрятаны и зёрна добра, что в познании несчастий заключён и мёд исцеления. На дне сосуда, дарованного Зевсом земной женщине, лежит надежда.

Не сразу понял это и один из простых смертных по имени и отчеству Иван Кузьмич. Болел он, по слабости здоровья и немолодого возраста, довольно часто. То одно приключится, то другое. И неприятности бывали. Иной раз сыпались, как из мешка. Вспоминался античный миф. Злополучный ящик

1 Нет, я не курю! (*исп.*)

2 Спасибо! Большое спасибо! Увидимся! (*исп.*)

представлялся сундуком, из которого, как из бездны ада, вылетали тёмные безобразные духи, цель которых была в том, чтобы вредить людям. Сама Пандора виделась в образе коварной колдуньи. «Вот гадина! — возмущался Иван Кузьмич. — Родятся же такие на свет. И зачем богам понадобилось наказывать людей?» Один раз во сне он даже увидел страшный ящик в виде огромного продолговатого четырёхгранника, полного нечистот. Но во время последней приключившейся хвори ему вдруг открылась тайна загадочного хранилища.

Медленно шло выздоровление Ивана Кузьмича. Хотелось быстрее. И болезнь-то пустяковая: всего-навсего весенняя простуда. Легко оделся, посидел раз-другой на лавочке, дома походил при открытом окне, набрался сырости — вот она и выходит насморком. Как будто острыми опилками осыпана уязвимая часть головы под лобной корой. И боли острой нет, а как-то не по себе. Что-то смутное ворочается внутри. Ни собраться с мыслями, ни понять, чего хочется хотя бы из еды. Два дня Иван Кузьмич почти ничего не ел. Оно бы и кстати. Кончалась Страстная неделя. И хотя не был он истово верующим, но обычаи помнил. Иной раз и в церковь заглядывал. А в этот раз не то что куличик посвятить, но и трансляцию богослужения смотреть не стал. Поздно, и желания не было. Кусочек из Иерусалимского храма Господня посмотрел о нисхождении Благодатного огня, послушал начало проповеди патриарха из Храма Христа Спасителя.

— Праздник праздников наступил. Величайшая радость! — возглашал с амвона предстоятель Русской православной церкви.

И, хотя испытывал Иван Кузьмич уважение к патриарху, радости не ощутил. Да и в окружавших людях не чувствовалось разлития благостного чувства. Все были поглощены заботами. Ни улыбка не освещала хмурые лица, ни искренности не слышалось в поздравлениях. Тяжёлая весна, перемены погоды.

— Христос воскрес! — говорили одни.

И другие, изображая радость, отвечали:

— Воистину воскрес!

Отвечал на телефонные поздравления и Иван Кузьмич, сознавая, что не верит в само Воскресение, а говорит так, чтобы не обижать верующих.

И радость, написанная на лицах людей, находившихся в храме, казалась Ивану Кузьмичу искусственной, подстёгнутой. Толки о тайне Благодатного огня пробуждали сомнения в том, что исходил он по Божьей воле, а не по хитрости человеческой.

В общем, света в душе никакого, только муть в голове, жар в теле, бесплодные ночи, наполненные роем бессвязных сновидений. Жизнь не мила, ничего не хочется. Была бы рядом жена, смягчила бы страдания, заполнила бы заботой душу. Но вот уже пятый год как нет её. Дочь в другом городе. Звонит, конечно, утешает, с Пасхой поздравила. Внуки щебечут в трубку. Знакомые не забывают, да всё это утешения на минуточку-другую. А потом снова метель ненужных мыслей, нежеланных образов, воспоминаний. Что делает болезнь с человеком! Старость и недуги соединяются, чтобы ослабить волю,

лишить разума, хотя бы на время. И это мучительно, как и сами страдания. Небольшие, но, может быть, оттого ещё более досадные. Было бы из-за чего мучиться, а то просто да!

Посмотреть что-нибудь по ящику, и то невозможно. Все постановки какие-то торопливые, и дикторы, и актёры говорят, будто с цепи сорвались. Близорукость ли это нетерпеливых умов, жаждущих самоутверждения, или сознательная политика? От последнего предположения Ивану Кузьмичу сделалось страшно. Пустыня, по которой бродят злобные тени, представилась внутреннему взору. Стало холодно. Да, старое исчезает, много хорошего забывается, уходит, как вода в песок. Вот уж давно никто такого отчества «Кузьмич» не носит, да и Иванами называют детей всё реже. Разлом прошёл между поколениями. И так, бывало не раз. И всё ли к лучшему в этой смене? Может быть, правы старики, упрекая новые поколения в порче нравов, в утрате совести, в распушенности? Да, видно, так идёт всё в жизни: хорошее растёт, и плохое не отстаёт, а то и вперёд выходит. Техника забивает в людях человеческое. Да и не техника, а деньги, безумие золотого тельца...

Однако, что это он зафилософствовался? Не иначе, на поправку пошел. Вот уж и с мыслями собраться можно. Опять стать «человеком разумным».

Ночью он спал глубоко. Бессвязных видений не было. Проснулся не сразу. Чуть-чуть забрезжил свет в душе. Вот что значит здоровье! И чувствуется, и видится по-другому. Все мы дети настроений. В сущности, даже мысли, переходящие в убеждения, рождаются из них.

Иван Кузьмич посидел за компьютером, проверил почту, написал что-то в Фейсбуке. Поглядев в окно, остановился взглядом на фиалке в горшке и рядом стоящем кактусе. Цветы не получали влаги три дня. Для уроженца пустыни ничего, но фиалке пора прервать засуху. Пробившийся среди темных листьев розовый бутон раскрыл лепестки в ожидании влаги, как птенчик раскрывает клюв.

Вскоре Иван Кузьмич почувствовал, что устал. Пришлось снова лечь в постель. В конце концов, необходимо время от времени отдыхать, отключаться: не слушать радио, не смотреть телевизор. Просто лежать и вслушиваясь в то, что происходит внутри тебя. Благо, метель болезни отбушевала; можно собраться с мыслями, никуда не спешить. Но из лазарета выписываться ещё рано.

Это подтвердилось и на следующий день. Ночь, хотя не была мучительной, как первые две, не принесла отрады и отдыха. Снова гуляли, как ветры в степи, неподвластные воле образы. Но в них уже проглядывал смысл, они не были бессвязными, как в начале болезни. Самое же главное, что отметил Иван Кузьмич, видения, хотя и фантастичные, прорезывались новыми состояниями ума, приоткрывали доселе неведомые грани в понимании и оценке людей. Появлялось чувство открытия чего-то такого, что раньше не замечалось, мимо чего проходил. Как будто из дымки проступало далёкое солнце.

Медленно текла река времени, неспешно очищалось её русло. В расслабленном по-детски состоянии проснулся Иван Кузьмич на пятое утро болезни. Шёл восьмой час. В окно смотрело ненастье. Но постепенно светлело. И вот, снопы солнечного света ввалились в комнату. Иван Кузьмич включил

плиту, поставил чайник и, открыв створку окна, вдохнув бодрый холодный воздух, ощутил волнение от света и чистоты воздуха. Он не стал включать радио. Не хотелось нарушать покой души голосами дикторов, привычными оборотами речи. Пусть в мире всё идёт, как идёт. Он побудет в тишине. И тогда слова придут сами, простые, как дети. В них скажется то, что должно сказаться, что созрело, как цветок в бутоне, как птенец в яйце, как всякая новая жизнь, которой пришло время появиться на свет.

В такие мгновенья, как из-под плёнки, проступают новые понимания всего, что плыло внутри и не могло сказаться до срока. Так в эту ночь из глубин потаённой реки поднялись и открылись сознанию некоторые из тайн женской логики чувств и особого языка: мимики, взгляда, интонаций, движений, неуловимых для рассудка. Много стало понятно Ивану Кузьмичу в поведении любившей и, возможно, всё ещё любящей его женщины. Она любила в нём черты необыкновенного человека, его дар, его неповторимую сущность. И вдруг в какой-то момент сказала: «Господи, и что я нашла в нём? Самый обыкновенный, такой же, как все».

Теперь, следя за линией её настроений, он понял, что его собственная ответственность погасила тот цветной пожар, то пламя, которое играло в её душе многие годы. И это охлаждение она приняла как трезвую правду, и удивилась, как всё пережитое можно увидеть в обычном дневном свете. Потом она это поняла, но воскресить потухающий огонь вряд ли было возможно. А может быть, пришло ему в голову, и её задело настроение века, когда женщины перестают уважать мужчин, не ставят их ни во что, даже не замечают. Как бы там ни было, его чувство к ней тоже изменилось.

Так он плыл, переходя из круга в круг, из состояния в состояние...

Вся жизнь должна пройти, бесчисленные болезни посетить, чтобы он, наконец, понял и это, и что-то ещё, в чём пока не успел разобраться, для чего не успел подобрать слов. Сознание, словно выйдя из тела, поднялось выше привычной планки, расширилось и включило в себя нечто новое.

И когда это произошло, ларец Пандоры закрылся. Крышка мягко захлопнулась, и в этой мягкости Ивану Кузьмичу послышалось нечто благосклонное и мудрое.

ВЕРТУШКА

Эта история случилась с одним мальчиком давно, очень давно. В те времена продавцы в белых фартуках носили по улицам лотки со сладостями, свистульками, воздушными шарами и разными другими замечательными вещами. Иногда среди них оказывались вертушки. Вы, конечно, знаете, что это такое. Если бежать с такой вертушкой быстро-быстро, крылья её сливаются в одно радужное трепещущее и гудящее колесо. И кажется, что и сам летишь куда-то.

Тогда только что закончилась война. Люди жили ещё очень бедно. Детей во дворах было много. Они играли в войну, в пряталки, салки, казаки-разбойники и разные другие игры. Очень любили футбол. Мячом служил набитый

чем-нибудь чулок или какой-нибудь другой круглый и мягкий предмет. Настоящий резиновый мяч был редкостью. А вертушка была просто мечтой.

Эта игрушка была только у одной толстой девочки Вики. Но она никому не давала не только побегать с ней, но даже подержать.

Мальчику очень хотелось иметь вертушку. Она стоила три рубля. И вот однажды, когда продавец оказался на улице, мальчик взлетел по лестнице к себе на четвёртый этаж, вбежал в комнату, отодвинул ящик комода и вытащил из пачки банкнот сверкавшую новенькую ассигнацию. На ней стояла цифра три. Легче ветра, перескакивая через три ступени, маленький похититель вылетел на улицу, подскочил к продавцу, протянул ему «трёшку» — и в руках у него оказалась вертушка. Он даже не сразу поверил такому счастью. Как птица, попавшая в силоч, она трепетала крыльями, билась на ветру и так и тянула за собой. Подняв её над головой, мальчик вбежал во двор.

Он носился с вертушкой целый день, громко кричал и смеялся. Но на душе не было весело. Он знал, что дома обязательно спросят, откуда игрушка. Хватятся денег и, конечно, обо всём догадаются.

Наступил вечер. Все уже разошлись, а он всё ещё бегал по двору. Бабушка позвала его домой и, увидев вертушку, очень удивилась.

— Откуда она у тебя?

Мальчик врать не умел и тут же во всём признался. Его долго стыдили и ругали. Он забился под стол. Сел на перекладину и не вылез, даже когда стали ужинать.

Его достали из-под стола, ещё пристыдили, потом покормили, уложили в постель. А вертушку сломали и выбросили. Спал он плохо, тяжело и тревожно. Точно камень лежал на душе.

Утром он вышел во двор. Вика уже носилась со своей вертушкой.

— А где твоя? — спросила она.

— Сломалась, — сказал мальчик.

Ему больше не хотелось бегать с вертушкой. Было стыдно того, что случилось. Но сказать правду он не решился. И так с чувством стыда и пережитого унижения он прожил этот день и внутренне дал себе слово никогда больше не делать того, за что потом бывает так нехорошо на душе.



АННА ТУМАНОВА

О ПРИБЛИЖЕНИИ К ИДЕАЛУ *и о роли в этом процессе рок-музыки и капусты*

ПРЕДЫСТОРИИ

Носки

Когда нам было лет по семнадцать и вскоре должно было случиться *это*, мы с моей подругой Машей обсуждали иногда, как *оно* будет в первый раз. Конечно, всё должно было случиться, как в голливудском фильме. Но больше всего меня смущал один вопрос. Не просто смущал, а не давал спокойно жить. Тогда я носила исключительно джинсы, и в юбке себя не мыслила даже в такой ответственный момент.

Так вот. Всё, как в кино: я, он, романтическая музыка. Страсти кипят. Снимаем друг с друга одежду, и всё так красиво... А тут — носки. Музыка начинает трещать, изображение — рябить. Ну, в общем, весь процесс — на-смарку. А как быть — не знаю. Ведь если я в такой ответственный момент буду без носков, это ещё нелепее...

Свёрток

Как-то я работала воспитателем в пионерском лагере. Отряд был замечательный. С детьми такое взаимопонимание! Хотя некоторые из этих детей были старше меня.

Возвращаюсь я однажды вечером в свою комнату, а на кровати лежит свёрток, перевязанный красной ленточкой с надписью «Анне Андреевне». Конечно, я, заинтригованная, тут же развернула его и... оттуда выпрыгнула огромная жаба. Я закричала, как и положено девушке при виде жабы или какой-нибудь другой скользкой твари. Прибежавшие меня спасти выбрали зверя с балкона.

Потом мне было не по себе. Кто это мог сделать? Это было совсем не в духе наших отношений с ребятами. Я так переживала! И своими подозрениями обижала своих милых мальчиков. Я не хотела верить, но ведь кто-то

сделал это!

А некоторое время спустя один дружок из параллельного отряда объяснил, что это его «подарочек» — самая большая жаба! Он ее долго ловил. Мальчик пробрался ко мне через балкон в моё отсутствие. И с его стороны — это даже больше, чем признание в любви! И всем сделалось счастье.

Пить и плакать

Когда мои отношения с Любимым дошли до состояния полной задницы, я спросила, что он будет делать, если я его оставлю. Будет ли он что-нибудь предпринимать?

Любимый сказал, что не имеет на меня никакого права и что он будет... «пить и плакать».

ИСТОРИЯ

*Идеал тем отличается от неидеала,
что его невозможно достичь.*

Есть у меня Идеал. И есть уже давно. И никак не могу я его достичь. Давно — это семь лет до настоящего момента. Для моего юного, хотя и не раннего возраста — это срок. Я уже не помню, как он появился и где я его впервые увидела. Вернее, помню. Конечно, я всё помню. Но не буду заострять на этом внимание как на глупых и незначительных происшествиях. Речь идёт о тех мгновениях, когда мы раз в месяц, а иногда — в полгода проходили по одной улице, оказывались в одном помещении или что-нибудь ещё в этом же духе. По-моему, я сразу ощутила его своим Идеалом, но сформулировала это позже. Я ничего о нём не знала, а то, что предполагала не имело отношения к действительности. Например, какое-то время я думала, что он иностранец. Интуристо. Не знаю, отчего такие странные домыслы рождались в моей голове. Просто в те времена повсеместной серости и кожаных курток одинакового фасона на всех мужчинах и женщинах он был действительно ни на кого не похожим — что-то ярко-жёлтое, зелёное, красное и, главное, нечто тёплое и безумно притягательное.

Потом я увидела его по телевизору и таким образом узнала, что он играет на ритм-гитаре в группе «Milk & kisses» и вовсе не иностранец. А некоторое время спустя у нас появились общие знакомые, и мне стало известно, что его зовут Денис Когут. Отличается нордическим выражением лица, отсутствием заднего места, является кладезем матерных слов и выражений. Талантлив. Кроме своего таланта ни на что не способен. Ему 26, а он всё ещё скрывается от армии.

Как правило, связывает меня с Идеалом лишь то, что Ирка моет тарелки средством «Идеал».

И все же наши с ним отсутствующие отношения недавно вышли на новый виток. Ирка — моя сестра, устроилась менеджером на радиостанцию «Синий ветер». А он там работает в телевизионке на «Микс-ТВ».

Это на меня не похоже, но под воздействием некоторых внешних сил типа Ольки, с которой мы вместе работаем «Графиксе», я решила действовать сама.

Собиралась начать я уже давно, но то была особенно страшенькая, то губы, как клоун, накрасила, то петухи, то на улице шёл дождь и я «раскрутилась».

А тут дали штормовое предупреждение. Был ураган. А я пошла к Ирке на работу под предлогом занести деньги — посмотреть на Идеала. Деньги я отдала, а Идеала не увидела. Пошла в печали в столовую, купила два салата из капусты, чтобы у меня выросли большие сиськи и я таким образом приблизилась к нему. Хотя бы в пространстве.

Мне стало скучно, а это бывает опасно для окружающих.

Через некоторое время я получила зарплату и пошла отдавать Ирке последние деньги, скрывая истинные цели. «Истинная цель» и теперь не вышла из своей каморки, а денег больше не было. Зато я видела Серёжу Лисицына, экс-барabanщика из «Снов черепахи», сидящего на диване с телефоном и занимающегося маркетингом. Он хороший и красивый, но не Идеал.

Вновь не обретшая счастья, пошла я и купила Ольке спиртометр. Потом взяла в столовой два салата из капусты и стала отчаянно приближаться к Идеалу. Второй салат оказался с песком, и это прервало процесс сближения.

Ах ты, мой недостижимый! Сколько раз я уже мысленно достигла тебя!

А тем временем Ирка приближалась к моему Идеалу не по дням, а по часам. Я просила её переписать у него диски с песнями «Milk & kisses». Ирка действовала. Он довольно облизывал губы после каждой встречи с ней, а она, воодушевлённая, рассказывала мне о нём по вечерам. А что делать?

Делать было нечего. И все же мы с Олькой решили наложить конец на бездействие.

На работе я заламинировала красивый осенний лист. Попросила сестру передать его Когуту со словами: «От тайной поклонницы твоего творчества».

Ирка так и сделала, но «инкогнито» позорно не состоялось.

— А твоя сестра случайно не в «Графиксе» работает?

— Откуда ты знаешь?

— Да так, дедуктивный метод.

Он несколько раз приходил к нам на работу делать афиши и ламинировать разные штучки. Но разве ламинатор есть только в «Графиксе»?

Мой подарок ему понравился. Я надеюсь, он хранит его у сердца и думает о тайной воздыхательнице.

Теперь у него есть вещь, которую я держала в руках, и у меня есть диски, которые ОН записывал. У меня есть его голос на кассете. Я знаю кое-что про него из совершенно «левых» источников и чувствую себя маньячкой.

А ещё у меня есть страшная тайна. Однажды я узнала номер его телефона, позвонила, пригласила Дениса. Бросила трубку и тут же забыла номер —

для реабилитации собственной совести.

У нас с ним любимая группа — «King Crimson», и оба мы внутри оранжево-синие.

Я хочу, чтобы он был моим мужем и жил отдельно. А он про меня ничего не хочет.

* * *

Скоро будет концерт-презентация первого альбома группы «MaxiBit» с участием «Milk & kisses» и «Прогулок». Я решила туда пойти. И Оляка настаивает — говорит, что одной капустой не обойдешься.

И вот настал ТОТ ДЕНЬ.

Я должна была во что бы то ни стало пойти на концерт. Во-первых, я сама хотела, а во-вторых, Идеал сказал Ирке:

— Ну у тебя и сеструха: «King Crimson» слушает, «ELP», «Milk & kisses» любит...

— И «Сны черепахи» — добавил Серёжа.

— Пусть она на концерт приходит, — сказал Когут, и слова эти стали самым прекрасным звуком во Вселенной.

Обстоятельства обламывали до последней секунды. Даже когда я была уже накручена, покрашена и надушена, выяснилось, что Наташка, наш бухгалтер, с которой я должна была пойти на концерт — об этом концерте ЗАБЫЛА!

Что теперь? Как не пойти? Было жаль истраченной косметики и Идеала.

Вся душа моя была уже там, и за пятнадцать минут я нашла своему телу другую спутницу.

Тело и спутница опоздали. В зале были заняты все места, междуместья, ступеньки, проходы. Выступала группа «Прогулки». Ребята — молодцы: порадовали, а особенно тем, что вышли первыми, и опоздали мы на них, а не на «Milk & kisses».

Ну где же, где Идеал? Душа моя давно уже с ним...

И вот... выходят ОНИ.

Зал взрывается, ведь большинство пришли именно их послушать, а не «MaxiBit».

Идеал, как всегда, был суров, холоден и безразличен. И лишь наведённый чуб выдавал его человеческое желание хоть кому-то понравиться. Ведь ребята в их группе — красавчики. Все девчонки от них «торчат». А Идеал какой-то нестандартный от ушей и до пят и неприветливый. И поклонниц у него меньше всех. Но мне этого не понять. Я даже представить не могу, что у кого-то может быть другой Идеал. Для меня он — Идеал в последней инстанции.

Выступали ребята — просто супер, как всегда. Зал был в экстазе, а особенно — я. Ведь я не видела его больше, чем полгода. Вот он! Я раздевала его глазами: очки, пуговички — одна за одной. Я уже видела его идеальное тело. Чувствовала его запах. Слизиывала языком капельки пота, всё ниже и ниже... Ремень, пуговица на джинсах, молния... Всё ниже и ниже... Носки.

Тут я протрезвела и стала слушать до боли знакомые песни.

Идеал за весь концерт всего два раза посмотрел в зал. За это он был жестоко наказан судьбой, и у него два раза чуть не соскочили очки. Это его «оконфузило» в моих глазах, но я была рада, так как это позволило возвыситься над Идеалом.

Часто и подолгу Денис поворачивался к залу попой. Но он — Идеал, ему можно.

За всё выступление я ни разу не хлопала. Когут, которому было адресовано моё безразличие, конечно, не мог этого видеть, но я надеюсь, что к нему летели флюиды презрения. И пусть знает, что ничего мне здесь не нравится и никто не интересен, а особенно — он, дважды оконфуженный.

И были мы с ним две Буки. Каждая со своими «букашками» в голове.

Интересно, он думал о том, пришла ли на концерт его «тайная поклонница» и машет ли она ламинированными листьями в глубине зала? Я бы на его месте только об этом и думала.

И тут случилось страшное. Выступление «Milk & kisses» закончилось. На сцену выходила виновница торжества — группа «MaxiBit». Междурядья, междуместья, проходы заметно опустели, так как многие приходили послушать последнее выступление в Орле «Milk & kisses». Ах, сколько раз Алла Пугачёва уходила со сцены!

Я сузилась и поникла. Искала глазами в зале — но тщетно. Ушла в себя. И тут — о чудо! К торчащей из середины зала камере вспорхнуло любимое лицо. Деловито проверило, всё ли в порядке, и «выпорхнуло» обратно. И так дважды. Жаль, но всё оказалось в порядке и лицо больше не вспархивало.

И представляла я, как танцую перед ентной камерой, раздеваясь. Снимаю всё под музыку, одно за другим, всё ниже и ниже, и тут — носки...

Уже ближе к завершению концерта я обнаружила в противоположном конце зала силуэт знакомого затылка и любовалась им до последней нотки, прозвучавшей на сцене.

Я потеряла его из виду, когда обезумевшая толпа рванула из зала в гардероб.

Выстояв огромную очередь в надежде хоть краешком глаза облизать знакомые черты, я получила свою вещь. И мы пошли со спутницей домой. И шла я, и в душе моей было так, как может быть у ребенка, которому вручили сверток с новогодним подарком — весь в звездочках и блестках, и, не дав развернуть, отобрали.

* * *

Через день после концерта я узнала что-то ужасное. В «Синий ветер» пришла работать новая девушка. Хорошая, открытая и стильная, легко находит общий язык с людьми и любит хорошую музыку. Она уже познакомилась с экс-барабанщиком Серёжкой. Но ведь и Идеал не за горами! Моя надежда на несколько дней (а может быть и часов) — его каморка, из которой он выходит только по случаю.

А вечером он как бы невзначай спросил у моей Ирки:

— Ну, что, сеструха твоя на концерт приходила?

— Приходила, видела, как у тебя очки всё время соскакивали.

Когда я об этом узнала, была в шоке:

— Ир, как ты могла сказать ему про очки? Это всё равно, что сказать про пятно где-нибудь на жопе!

— Нет, это значит, что ты с него весь концерт глаз не сводила.

Значит, он думал обо мне перед концертом, когда чуб чесал, на концерте и после! А вдруг он меня уже поимел? Какой ужас! Как хорошо, что я в носках была!

На другой день, когда моя Ира уходила с работы, Когут окликнул её:

— Ирка! А тебе партзадание! Принеси завтра фотографию сестры.

— Ты что — зачем?

— Я хочу посмотреть, та ли эта Аня, про которую я думаю. Какие у неё волосы?

— До плеч.

— Значит, это я ей однажды что-то в «Графиксе» рассказывал. А она смешная!

— Сходи к ней в контору и посмотри сам!

— Не пойду. Зачем я туда пойду? Я там уже был.

Эта его фраза меня особенно обрадовала. Он боится встретится со мной, и поэтому не придет к нам на работу, а будет ламинировать дома целлофановым пакетом и утюгом. А значит, я не потеряю сознание при встрече с ним.

Чтобы нам не встретиться наверняка, я тоже больше не приду на «Ветер».

А если мы столкнёмся на улице? Как мы обезопасимся друг от друга? Наверное, завалимся «валетиком» и будем лежать посреди дороги, как Инь и Янь. И никто не встанет первым, чтобы делать вид, как будто этого и нет. Мы закрыли глаза и спрятались, а кто на нас наступит — тот фашист.

Когда Ирка уже направилась к выходу, Когут ещё раз окликнул её:

— Ириша! Обязательно принеси, поняла?

Он желает видеть свою тайную воздыхательницу!!!

* * *

Я весь день терзалась мыслями, показала ли Ирка Идеалу мои фотографии и что он сказал. А ещё в этот день к нам на работу приехал мой Любимый, и я опять размышляла, кто из них мне дороже. Я не могу бросить Любимого, потому что он мне родной и потому что отец моей дочери. Мне не на кого его оставить. Он без меня несчастный. А ещё ему приснился этой ночью сон, где я была с кем-то другим. Он не рассказал, но дал понять. Я выросла к своему Любимому — к его запаху, голосу, улыбке. Он для меня как кислородная подушка. Увижу его — и дышу полной грудью, а потом воздуха всё меньше и меньше. И так до следующей встречи. Раньше я не могла без него жить вообще. Но эта любовь каким-то образом уживается со стремлением к Идеалу. Идеал — противоположность Любимому абсолютно по всем параметрам. Это люди с разных планет. Но когда я смотрю на них, они напоминают друг друга.

Сестра сказала: когда она разговаривает с Денисом, ей кажется, что каж-

дый говорит на своем языке. Он в своём мире, не похожем на наши миры. Ещё он весь заморенный травкой, водкой, сигаретами, до невозможности крепкими чаем и кофе.

* * *

Вечером Иринка рассказала, как он смотрел мои фотографии. Она зашла в его каморку и показала их издалека.

— Я же слепой. Неси поближе!

— Денис, если Анька узнает, что я их взяла, она меня убьёт!

— А что такого — фотографии показать?

— Ну..., если бы у меня кто-то попросил фотку, я бы тоже ни за что не дала.

— Ир, тебя когда-нибудь в милиции допрашивали?

— Нет.

— Сразу бы раскололи!

В общем, он понял, что я сама дала фотографии.

Идеал вспомнил, что мы учились в одном институте, и сказал даже, когда я его закончила. Но истории в «Графиксе» он рассказывал «как будто» не мне, а кому-то ещё. Не знаю, или он врёт, что не помнит точно, с какой девушкой разговаривал, или это в самом деле так. Тогда уж он совсем какой-то забубённый.

Ира попросила, чтобы он переписал нам на диск последний концерт. Идеал сказал, что не имеет права распространять записи. Но конкретно — да или нет — не ответил.

Когда Ирка уходила домой, он сказал: «Передавай привет сестре!»

В общем, он меня разочаровал. Тут кипят страсти, а он равнодушный, как пень. Да ещё проблемы с памятью и со зрением. Теперь, если я его встречу на улице, то не упаду и не буду лежать с ним как Инь и Янь, пусть один валяется. А когда он придёт к нам на работу, я даже и не посмотрю в его сторону. Он ужасен и не заслуживает быть Идеалом. Мне хочется плюнуть ему в глаз с расстояния четыре метра и подложить в каморку свёрток с жабой и надписью «Денису Валерьевичу». Ещё я хочу, чтобы он описался в штаны. (Ой, не надо! Я недавно узнала, что это нарушение какой-то парацентральной дольки в голове. Здесь одними штанами не обойдёшься... Поэтому я уже не хочу, чтобы он описался в штаны). Иногда я уже совсем ничего не хочу, а только сижу и жду, когда же наконец меня стошнит от перенасыщения им и вывернет наизнанку. Но что-то всё никак. На то он, блин, и Идеал, что хоть два пальца в рот суй, а всё восхищаться будешь даже одним фактом его существования.

* * *

С утра думала о людях и их ничтожестве. Ничтожестве не в уничижительном смысле, а в философском. Вот мы с Олькой — такие прекрасные, что сил нет. А иногда идём с ней, а в голову лезут мысли: «Две козявки, одна другой дурнее, а ещё что-то о себе думают». Так и про других. Вспомнила всех

друзей и знакомых в их «философском ничтожестве». Только Идеал с этим не вязался — не могла припомнить ни одной ситуации, ни одного повода так о нем подумать. Вот оно! Нашлось! Вот в чём корень идеальности!

Потом пришёл Любимый. Мы с ним, как всегда, хорошо провели время, а «на закуску» беседовали об идеалах. Он сказал, что я почти во всём девушка его мечты, а в чём-то мне нет сравнения, но только девушка его мечты не язвит, и она была бы рада белочке, которую он подарил мне на день рождения. Я ответила, что если с идеалом жить и он не язвит, то будет слишком пресно. Он был не согласен и сказал, что найдётся много других интересных дел, кроме язвления. Не знаю. А что насчёт белочки — она мне понравилась, только я не поняла, к чему она. Он принёс целую коробку подарков для ребёнка, и там была эта белочка. Наверное, это сюрпризный момент.

Мой Любимый — не парень моей мечты. Но он — любимый, а это — больше, а может, столько же.

Я рада, что у меня их двое. Олька уже знает почему. Когда один покажет себя с похабной, бессюрпризной стороны, сразу же душою «бросаешься» к другому — возвышенному и невинному. И так по очереди — от одного к другому — как маятник. А если другого нет, то бросаешься в пустоту, а это больно, хоть пустота и мягкая.

* * *

Ирка вчера звонила мне на работу, а Серёга Лисицын передал мне привет. А Идеал был рядом и тоже передал привет.

Этот незначительный эпизод не стоит даже того куска бумаги, на котором он записан. Но как я могу оставить это без многочисленных выводов?

Он услышал, что Серый передаёт мне привет и, конечно, вскипел от ревности. Я в этом не сомневаюсь. Чтобы я в момент «передачи» не подумала о Серёге, Идеал к нему присоединился. Теперь я подумаю и о нём. А ещё он обезопасил себя, передав привет не самолично, а «заодно». Убил двух зайцев.

Ну вот, и такую мелочь я не оставила без психоанализа в свою пользу. После этого объяснения чувствую себя «философским ничтожеством».

* * *

Ирка предложила устроить нам свидание. Но это всё равно что познакомиться на свадьбе. Никакой романтики.

«Я не имею больше власти
таить в себе любовные страсти.
Они кипят во мне от злости,
что мой предмет любви меня к себе
не приглашает в гости.
Уже два дня не видела предмета.
На третий кончу жизнь из пистолета.

Ах, если б мне из Эрмитажа
назло соперницам — врагам

похитить пистолет Лепажка и,
взор направив к облакам.....»
Д. Хармс

Не стоит он этого, не стоит! Хотя и Идеал! Никто не стоит! Мужик стих писал. Они пусть и стреляются. Ведь мы, прекрасные, стоим многого. Сила и терпение в нас бесконечные. А у них — нет. Вот они и стреляются по делу и не по делу. А если стреляться страшно, то «пьют и плачут» чуть что. А если ни то ни другое, то начинают всех женщин на свете ненавидеть. Как будто бы все они связаны каким-то общим Вселенским Заговором и отвечают друг за друга, как дети за грехи родителей, например.

* * *

Однажды, когда казалось, что все страсти стихли, и я была хуже некуда, да плюс ещё сопутствующие обстоятельства: Оля ушла на обед, а я в техническом отделе сорвалась на сотрудников, которые не хотели работать, случилось то самое. То, что должно повлечь за собой ситуацию Инь-Янь.

Иду, разъярённая, в свой кабинет, а в дверях ко мне спиной стоит он — мой Идеал. Всё, что было потом в реальности, длилось секунды. Но в субъективном времени казалось почти бесконечным.

Начнём с того, что в этот день я чувствовала себя злобной пигалицей, и, естественно, Идеал появился в самый подходящий момент.

Так вот, стоит ко мне спиной мечта моя — красивая такая, в синем пальто. Ирка сказала, что это пальто он отобрал у своего друга, который собирался отнести его на помойку, так как это одеяние его отца или, может, бабушки, годов семидесятых. Пальто Идеалу слегка узковато в плечах и рукава коротковаты — выше запястья. Лопатки сведены, как у летящего орла. Шапка — с синими (в тон пальто) и белыми полосками — натянута на уши, с рожками наверху, а из-под шапки торчат запотевшие очки.

Всё это великолепие меня, как обычно, ввело в ступор. Единственное, что я, вся уже пребывающая в вегетативных изменениях, могла в тот момент сделать — пройти под его упирающейся в дверной проём рукой и стать к нему задницей, естественно, ничего не сказав.

Идеал развернулся и ушёл. Он был не один, а с «кузнецом». («Хочешь большой и сильной любви? Приходи сегодня вечером на сеновал. — Она не одна придёт, она с кузнецом придёт»). Так и Идеал с кузнецом пришёл. А зачем нам кузнец?

Мне казалось, я так долго смотрела им в спины... в голове пронеслась куча мыслей. Хотя в пределах моей видимости они прошли метра три. А потом свернули на лестницу.

Наташка, наш бухгалтер, которая была на момент появления Дэна в офисе, посмотрела на меня странно как-то и спросила:

— Что это за ублюдки?

— А зачем они приходили? — произнесла я взволнованным от чувств голосом.

— С диска что-то распечатать. Я им сказала, чтобы через час подошли,

когда Оля с обеда придёт.

Я опечалилась. Знала, что не придёт он ни через час, ни через год. Да ещё Наташка обозвала его «ублюдком». Подумать только... Она живёт в другом измерении!

Моей сестре на работе Идеал сказал, что видел меня в «Графиксе», сказал, что я «вот такая» и показал рукой мой маленький рост.

Когда пришла Олька, я ей всё рассказала. Она, как обычно, обозвала меня дурой.

* * *

Прошло много времени, и я не помню, было у нас что-то с Идеалом или не было. (То есть проходили мы с ним раз в месяц по одной улице, или нет.) Вроде было, и я хотела об этом написать, но не было желания. А теперь и не помню.

Я долго грустила: Олька уехала к родителям — за тысячи километров от нашего городка. Ещё был неприятный разговор с Любимым. Я даже вспоминать не хочу. Тем более не прошло и недели, а он опять без меня не может жить. Я подостыла к Идеалу, но всё же он ничем не запятнан. На то он и Идеал: когда всё обгажено, он чист и непорочен.

Олечка иногда стала появляться в моём почтовом ящике, и долгое время это было моей единственной радостью.

«п п» <***@bk.ru>

Дата: Tue, 02 Dec 15:19:11 +0300

Тема: Ж.па!

Здравствуй, Анечка! Спешу тебе сообщить, что я пока в глубокой заднице. В N-ске задержалась до 28 ноября. Приехав туда, сразу же поругалась со всеми родственниками, которые вздумали учить меня жизни. Все дружно указали мне на мою недоделанность, дурость и несостоятельность. Я до сих пор не нашла себе мужа, у меня нет детей, и вместо того, чтобы заняться его (то бишь мужа) поисками, я болтаюсь, как понятная субстанция в проруби. Одежка моя была обсмеяна. Все вопрошали: «где пальтишко и сапожки?» Сказали, что я панк, секс-меньшинства и фанатик. Особливо в самое сердце ранили их мои ботики...

* * *

Мой Любимый — наверное, он подлец. Он приходит ко мне потому, что не может без меня жить. Но его не беспокоит, что со мной происходит, когда его нет. Я это понимаю, и не только это. Он поступал со мной по-свински, он причинил мне боли, как никто другой. Но если его нет, я не нахожу себе места. Я была согласна на всё, чтобы быть рядом с ним. Раньше я жила только теми минутами, когда мы были вместе. А всё остальное — это ожидание встречи, пропитанное безумной болью. Когда говорят: «болит душа» или «время остановилось» — это не просто слова, это физические ощущения. Когда больно дышать, и ты вдыхаешь так осторожно, чтобы не пошевелить мир вокруг себя. Его малейшее движение причинит тебе ещё больше нестер-

пимой боли. И кровь по венам течёт очень больно. Часть этой боли можно выкрикнуть, но негде и некому. Я должна была сохранять внешнее спокойствие, потому что одни не должны были знать, что у меня есть эта любовь, а другие — что она такая.

Теперь у меня дочь. И никого нет дороже. Благодаря ей я как-то смогла жить без Димы. Я смогла разорвать эту ужасную привязанность, когда мне нечем было без него дышать. Теперь я не знаю, люблю его или нет. Это что-то другое. Он как нога — короткая, толстая, кривая. Ты, конечно, мечтаешь о другой — длинной и стройной. Но она — твоя нога, и отказаться от неё — безумие. И, что самое печальное, — ты без неё хоть как-то, но проживёшь, а она без тебя — никак. Вот моё чувство к Димке. Да, благодаря его стараниям, моя любовь трансформировалась в это...

Дима — единственный мужчина, к которому я смогла приблизиться в период наличия в моей голове Идеала.

Иметь Идеал — это ужасно. Он всегда стоит между мной и кем-то. Всегда. Я не могу воспринимать других мужчин, зная, что парень моей мечты есть, и есть рядом. Так близко, что, съев пару килограммов капусты, ты прижмёшься к нему вплотную. Удивляет только, почему мой Идеал мало кому нравится. Девушки его не любят — он может их обматюкать и дыхнуть в нос луком. На работе с ним все переругались и говорят, что сами породили его такого. А он любит только свою работу (по крайней мере, я на это надеюсь).

Если я случайно где-то с ним сталкиваюсь, у меня перехватывает дыхание, и я не могу вести себя адекватно. Поток его энергии сшибает меня с ног, заставляет дрожать и быть дурой. Если бы я была невидимкой, я бы бесконечно могла сидеть напротив него и любоваться красотой его лица и души. Ну почему окружающие его люди не хотят видеть дальше внешних проявлений? Потому, что не нужно. А мне зачем нужно? Я же с ним даже не знакома — а кажется, что знала его всегда и даже больше — он часть моего существа.

Прошло уже столько времени, а он ничего не спрашивает у Ирки обо мне и даже не передаёт приветы. Наверное, подумал, что я страшенькая.

Мне Оля как-то рассказывала историю, как в их компании в Алма-Ате был подобный никем не признанный талант. Девушки не обращали на него внимания, он жил сам с собой в своём этом таланте и, наверное, даже мало с кем спал. А тут появилась одна девица с пышными формами — неизвестно откуда. Оценила его. Вышла за него. А он и не заметил.

Вот и в моём случае — пока я сижу и жду исполнения судьбы, появится какая-нибудь мадам, поведёт своими приладами, а он, дурак, и будет согласен. Так и женится. Хотя сейчас думает, что не женится никогда. Раньше он думал, что никогда не покрасит волосы, так как на это способны только извращенцы и дегенераты, а сейчас ходит крашеный. Меня бы от этого стошнило, но надо смотреть глубже: по Фрейд. Он делает всё, чтобы его никто не полюбил, а сам мечтает о какой-нибудь с большими приладами — для неё и покрасился. Надеюсь, это — я. Хотя прилады у меня средние.

Как я хочу достичь своего Идеала! И ничто в моём хотении меня не оставляет, кроме раздражения кожи под мышками, как у Барбары Блэйд.

Мой Идеал, а вернее, что-то вроде его призрака, появлялся в моём сознании, когда в лучшие времена я мечтала о нашем будущем с Любимым. Он предстал перед мысленным взором и вопрошал сурово и обиженно: «А как же я?» Ведь в случае счастливого будущего с Любимым даже мысль о нём была бы грешной. И существование Идеала оказывалось «ложкой дёгтя» в предстоящем счастье.

К счастью, счастье не состоялось, и я не осталась душой у разбитого корыта — ей есть куда окунуться — в мечты об Идеале. И теперь «ложкой дёгтя» становится что-то связывающее меня с Любимым.

Я не могу никого из них предпочесть. Ведь нельзя выбрать между Землёй и Небом или ответить, что ты больше любишь — есть или спать. Но если бы их поставили передо мной и сказали: «Откажись от одного ради другого», то я бы отказалась от Идеала ради Димки, а от Димки ради Идеала — нет. И не потому, что Любимый мне дороже, а потому, что ради него хочется жертвовать. А Идеал — самодостаточен. Его душа живёт «натуральным хозяйством», так же, как и моя. Целостность его не убудет без меня (или кого бы то ни было). Поэтому его можно оставить, а Любимого — нельзя. Он будет «пить и плакать», и это в лучшем случае.

И всё-таки мой Любимый — козел, как и все мужики, вернее, почти все, кроме тех, которые носят розовые рубашки. Эти — беззащитны, ранимы и в чём-то женоподобны, а женщины (и им подобные) не могут быть козлами — только козами. Да и то лишь те, которые родились в год Козы — как я.

* * *

Через некоторое время я поехала по делам в «Синий ветер». Открыла дверь, а в коридоре — мой Идеал. Я его увидела не сразу. Заходя, не поднимала глаз и производила манипуляции с дверной ручкой очень медленно, растягивая удовольствие предвкушения. Конечно, я не могла знать, что он там будет, а тем более — один. Но жизнь прекрасна. И всё было именно так, как я не могла предполагать.

Идеал, как уже известно, был один. Я прошла мимо, чуть ли не зацепив его, и даже не повела глазом. Опять мы сделали вид, что не знаем друг друга. А что творилось у меня внутри! Но разве в ситуации наших идиотских отношений возможен хоть какой-то контакт!?

Встретились Бяка и Бука —
 Никто не издал ни звука.
 Никто не подал и знака —
 Молчали Бука и Бяка.
 И Бука думал со скукой:
 «Чего он так смотрит — букой?»
 А Бяка думал: «Однако,
 Какой он ужасный бяка...»
 Б. Заходер

(окончание в следующем номере)

ВЛАДИМИР ВЕЩУНОВ

НА ТРАВЕРЗЕ ЛЮБВИ

Рассказ

Крутой извилистый спуск с сопки в распадок злопамятные зятя нарекли Тёщиным языком. В добрую погоду по этому «серпантину» осторожно сползали и заползали на сопку машины. Ночами всё окрест грохотало от покатушек фронтменов. Шумахеры на «сверхзвуковых» японках накручивали по крутизне слалом. Особым шиком считались гонки после тайфуна. Размичканная, угробистая змеюка швыряла покатушников по склонам сопки. Многие калечились. Иные гибли. Венки скорбели на местах гибели.

Нормальные водители на Тёшин язык после тайфунов не совались: мёртвая зона!

Гром во гrome. Треск молний, разрывающих чёрное полотно ночного неба. Заколебалась земля. Тектонические сдвиги подняли в океане волну. Цунами сорвало с якорей суда на рейде. Разбросало каботажный флот, слизало яхты, гаражи с моторками. Всё это мощный отлив унёс в океан.

Лавина влетела в бухту, где вовремя ошвартовался плашкоут. Лишь мёртвая зыбь потерзала «плот» с четверть футбольного поля. Плоскодонное судно тряслось, как в лихорадке: вот-вот со скрипом развалится. Матроса Андрея Перегудова колотило вместе с ним. Он перетерпел эту дикую ночь в каютке и утром сдал вахту напарнику.

После такой встряски «тёщины языки» нипочём! Благополучно спустился на колымаге «тойоте» с автомогильника Июкогамы.

Языки оползней наполовину перегородили шоссе Тигровой пади. Столетие тому амба царствовал здесь, в таёжном урочище. Ныне хозяйничали заводы и комбинаты: ЖБИ, ДСК, автобазы. Ближе к заливу были «разлинованы» номерные улицы: Портовые, Корабельные, Морские... Далее громоздились пакгаузы, жирафами высились портовые краны. Между доками у пирсов на приколе стояли сухогрузы, контейнеровозы, сейнера, морозильные траулеры.

Днём и ночью в два встречных потока мчались по рабочему шоссе машины. Самые крутые шпарили по «языкам», сравнивая их с асфальтом. Но в одном оползне увяз «мерседес». Автоледи в летах, в клетчатом кардигане,

безнадёжно голосовала, чтобы кто-нибудь остановился, помог. Тщетно!..

Перегудов вылез из машины:

— Здравствуйте!

Женщина непонимающе посмотрела на парня в матросской куртке, вздохнула, подняв палец кверху:

— Как небо низко!

Казалось, мир помутился у неё в глазах. Битый час промаячила на обочине с поднятой рукой! Никто не остановился!

— Здравствуйте, я Андрей! — приветливо произнёс он. — Садитесь в мою машину, там теплее

Помог ей сесть в «тойоту» и принялся сапёрной лопаткой откапывать, освобождать «мерс» из плена.

— Сколько я вам должна? — пришла в себя дама после освобождения. — Никто не остановился! Бесчувственнее камня! А вы... Такую работу проделали, выручили. Спасли, можно сказать. Не стесняйтесь, сколько?

— Да что вы?.. — обиделся Андрей. — Ничего вы мне не должны. Я рад был помочь вам. Сколько раз Господь помогал мне! И люди.

От доброты человеческой у женщины хлынули слёзы. По-детски шмыгая носом, она промокнула платком глаза. От волнения перехватило дыхание. Не в силах вымолвить слово, с благодарностью посмотрела на доброго парня и села в машину.

Да-а... Сколько раз помогал ему Господь, и люди!..

Служил Андрей в погранвойсках. Гонял с погранцами на сторожевых катерах япошек. Их браконьерские шхуны нагличали в наших водах. После службы рыбачил на судах прибрежного лова. Мэрээски, малые рыболовные сейнера, вечерами возвращались в родную бухту, снабжая сайрой рыбоконсервный завод. Разносортицу: камбалу, краснопёрку, сельдь, корюшку-зубатку — рыбаки с палубы с удовольствием бросали на пирс. Посельчане набирали полные пакеты свежерыбицы.

В таком праздничном действе непременно участвовал Андрей. В рыбацкой робе, по-богатырски возвышаясь над пирсом, с задором плюхал на него рыбин.

Среди даров моря попадались сельдевые акулята. Сорванцы накальвали их на палки-пики и носились с «акулами» по посёлку.

Аппетитный запах жареной камбалы окутывал Рыбачий. Радивые хозяйки готовили деликатес: фаршированную краснопёрку в рыбьем чулке.

Как-то в конце мая среди сборщиков «урожая» на пирсе Андрей заметил Нину, одноклассницу. Присев на корточки, девушка собирала в пакет рыбу. Шаловливый ветерок играл прядкой русых волос и обнажил плечо. Она поднялась. Курносая, в ситцевом платице, тонкая, хрупкая. Девчонка девчонкой. Увидев Андрея, помахала ему рукой и скрылась за пригорком.

Скромница, хорошистка, неприметная. Поглядывая на девчат, Андрей и не замечал её. А тут!.. Поздний вздох.

Вскипела путина. Андрей перешёл на морозильный траулер. Рыбразведка радовала огромными косяками сайры. Трaлили дeнно и нoщно. Однако

сердце Андрея всё чаще отвлекалось на то мгновение мая, которое виделось прекрасным...

Ласковый вечер. Зарницы. В отсветах их словно оживали сопки. Блистала позолотой, как рыба чешуя, морская зыбь. Неведомая радость... Струн трепетание. Долго не мог уснуть.

В течении звёзд сияло девичье плечико. Дразнящее... Попытался тушить юношеские вожделения. Красота души выше красоты тела. А что он знает о Нине?... Можно такое навоображать! И всё-таки она какая-то милая... Учились вместе, живут в одном посёлке — и вот любовь с первого взгляда...

Отдыхая на палубе, ощущал течение звёздного ветра. На траверзе любви. Рыбачил, ходил по земле, а сердцем — по небу. От майской влюблённости до сего часа, оглядываясь на недолгий путь, душа замирала. Нина... И жизнь, и дыхание...

Сойдя на берег, встретил Ритку, одноклассницу, спросил про Нину. Хмыкнула, поджала губы: неразделённая её любовь — Перегудов.

— Какая из неё рыбообработчица! Худючая! Нам вкалывать приходится, рыба костистая, руки поранены... Подалась в порт: мир посмотреть и себя показать. А показать-то особо и нечего: серая мышка. А почему ты о ней спрашиваешь? У вас, вроде, ничего не было. В порту женихов поболее. Морские офицера, капитаны! Такое сокровище — и не замужем! Матросня — народ аховый! Поматросят и бросят. Поспешай, пока не залетела твоя Ниночка!

— Почему моя? — с неожиданной радостью спросил Андрей.

— Вижу, по глазам вижу. Какая-то Матросская у неё, или Морская какая-то. Но чётко помню: дом 5, квартира 55. Мы с ней подружки всё-таки! Не заблудись!

Небо дышало любовью. Розовое утро раскрылило паруса, тугие в свежем сентябрьском ветре. С небесной резвостью чайки увлекали в даль, в портовый город, где жила Нина...

Радовался денёк, когда начал поиск. Обстучал, обзвонил семь квартир в пятиэтажках на Матросской. Тщетно!.. Морские находились на другом конце города.

Багровобрюхие тучи, начинённые молниями, грозой не разразились. Лишь в отдалении за сопками добродушно проворчал гром. Латунь залива в последних лучах. Свинцовая вода, озябший рыбачок с дрожащей удочкой на берегу...

На землю будто опустилось облако. Стустился туман. Берег укрылся ватой. Ничего не видно: ни людей, ни домов. Звуки тоже застревали. Что-то было там, в гуще тумана, а что и где — не различить.

Боясь потеряться в этой безмерности, Андрей убедился, что стоит на тротуаре, и больше не делал ни шагу. Время детское, кто-нибудь да появится.

Седой туман... Потрогал волосы. В шестнадцать лет пронзила их седина. Нина заметила. Весь десятый сопереживала Андрею. Мать умерла. Один остался. Родная тётка, детная, из мазанки перебралась в его однушку. А он перебрался на сейнера. Вот так возрастал и укреплялся. И вот увидел Нину. Истосковался.

Прошёл мимо странный человек: короткие курчавые волосы, на чёрном лице белки глаз. Столько тоски скопилось в них, чужой, непонятной. Кажется, она вызвала тоскующий корабельный крик, пробившийся сквозь вату тумана. Андрей вздрогнул. И от странного лица, и от нездешней тоски, и от раздирающего стоны корабля. Устыдился своей слабости: совсем скис. Вот у негра, видно, горе так горе. Захотелось броситься следом за ним, утешить, подбодрить брата-человека: всё будет окей! Но куда сунешься в этой сумрачной мгле?

Промозгло, зябко. Утро сулило радостный день. Но то в Рыбачьем, там климат совсем иной. Ветры с океана гоняют туман. Рыбачий теплее. Здесь же в распадках, между сопками, у каждого района своя погода. И вот лежище туманов — Гнилой угол.

Морось въедливая, а он в футболке. И спать нестерпимо хочется. Упасть бы в каком-нибудь тёплом углу! Сил нет. Шагнул. Как идти в этой непроглядной гуще? Взмахнул руками, как бы сяясь разгрести туман. Слепо пошаркал, ощущая твёрдый шероховатый асфальт, спотыкаясь о бровку тротуара. Поднялся на бетонную площадку. Упёрся в мозаичную стену, показавшуюся обледенелой. Автобусная остановка! Продрогший, забрёл в павильон. Застыл, не в силах более двигаться.

— Что, ночевать негде?

Вздрыгнул. Из угла павильона вышел бомжеватого вида мужик:

— Крен и ноль футов под килем! — прохрипел и вскинул руку к подошедшему автобусу: — Ну вот, как по заказу! Поехали!..

Виктор Быков жил в пятиэтажке метрах в ста от моря. Шум прибоя с шипением пены слышался так близко, что казалось, море вздыхало под окнами. Будто оно совсем недавно побывало в квартире. Оставило после себя небольшой беспорядок. Развесило на стенах чёрный черепаший щит, окованный медью штурвал, отрез рыбацкой сети с пенопластовыми поплавками. Разбросало на подоконниках и шкафах засушенных ежей, клоунистых звёзд, дракончиков с раздутыми, словно крылья, жабрами, ракушки каури, похожие на крапчатых букашек, раструбы раковин, «заиндевелые» кустики кораллов. Расставило по углам папуасских пузанчиков-божков с копьями. Виделось хождение хозяина по морям-океанам до последней земли.

Спотыкаясь о разбросанные кокосовые орехи, Андрей разглядывал заморские диковины. Ему, прибрежному рыбаку, не доводилось ходить до южных морей.

— Амба! — оборвал экскурсию хозяин. Сгрудил на край кухонного стола немытую посуду. Разлил из початой бутылки водку по стопкам:

— За тех, кто в море! — Подвинул гостю закуску: вскрытую баночку горбуши. — Холостяцкая. Моя Елена Прекрасная в море, на плавбазе рыбообработчицей. Я на бичу пока. Мой СРТМ на приколе, в доке. Ах, да между первой и второй чайка пролетела!.. Я бездомность о как чую! По очкурам помотался. Детдомовской закваски!

Да, крепкой закалки Виктор Быков! Ёршик рыжеватых волос, обветренное лицо, худошавый. В футболке — и даже не продрог в «ледяном» павильоне!

— Крепко ты, юнга, промёрз! Никак зыбь твою водчонка не уймёт. Ну что ж, не пьянства ради, здоровья для!

Словно солнышко прокатилось внутри. Осоловел Андрей после третьей. С блаженной улыбкой смотрел на Виктора, как на спасителя.

— Для человекав Сын Божий сделался человеком. А уж тем паче человек должен быть человеком! — Видя благодарные глаза парня, дружески похлопал его по плечу. — Надейся на добро, и оно не задержится. Иные умирают от страха бед и прочих тягот здешней жизни. Пребывают в прискорбном положении до сумеречного сознания. И сердце чернее ночи. Жалуется мужик Богу: то плохо и другое; на работе, в семье нелады. «Одно мне скажи, — спрашивает Господь, — продлевать будем?» Так что избавь себя от сетования. Нападает банда передраг. Говорю: «Бог и я сильней!» Отстаёт. На тонущем корабле все верующие. Божие приходит само собой туда, где чисто.

Андрей кивнул на телевизор — в сугробе пыли.

— В знак протеста! — посуровел Быков, — Зрелищные девахи в присущем образе. Рекламная дичь: «Россияне начали чаще стричь своих кошек... Простипома, хек, чавыча, треска, горбуша и другая камчатская рыба — в кинотеатре «Россия». Съешь меня, порадуй свои вкусовые сосочки!» И следом — «Памяти павших будем достойны!» Дворцы элитчиков выглядят роскошно, а внутри полны мрака. В самовеличии они перестали считать себя людьми. Суперы-пупыри. А хижины исполнены света. И светлых снов. Давай укладываться. Заболтал я тебя. Давненько ни с кем не делился. Ладно, не будем копать в слоноведении! Ну их. Здоровье приходит от добрых мыслей.

Он заботливо уложил Андрея на полу:

— Спокойной ночи, юнга!

Ещё в автобусе Быков добродушно нарёк Андрея юнгой.

Славно чувствовал себя Андрей. Благодатный человек Виктор. Презирает страхи этой непростой жизни и посмеивается над её благами. Верующий, отверз Андрею целое небо.

Однако делиться с ним, рассказывать о поисках Нины парень не стал. Безрассудным бы показалось его путешествие.

Боль и сладость неведомого ожидания томили. Грезился чудный образ... Нина... Юное бедное сердце истомилось, истосковалось по любви. И красоты в думах были жизненными, пережитыми, выстраданными.

Вскрикнул. Кто-то толкнул в бок.

— Крыса!

Проснулся Виктор:

— Капитан на корабле знает всё, но крыса знает больше. Не ожидал я от тебя, юнга, такого перепуга! Алёнка решила с тобой познакомиться, черепашка. Днём спит, а ночью гуляет. Не смей меня. Спи!..

Из-за алеющих вершин сопок заблестало утро, разгорелось. От брызжущего светом залива Андрей зажмурился. Сердце простиралось в бесконечность. Возносящая полётность. Неведомая радость! Отчего?

— Лепота! — приобнял Андрея Виктор, любуясь красотой за окном. — Куда, юнга, путь держишь?..

— Землячку ишу. Семь Матросских обошёл..

— Да-а... Странная у нас география. Фантазии первопоселенцам не хватило: семь Матросских, пять Портовых, шесть Линейных, четыре Корабельных, три Морских...

— Вот-вот! Нина на какой-то Морской. Дом пять, квартира пятьдесят пять.

— С чем и поздравляю, юнга! Первые две — трёхэтажки. Стало быть, твоя Нина живёт здесь — этажом выше!

— Такого не может быть! — потрясённо прошептал Андрей. — Здесь, в этом доме — Нина! Невероятное стеснение обстоятельств.

— Тихий Дух сверху управляет нами, а не стечение обстоятельств. Благодать проникает сквозь завесу видимого и осязаемого. Видимое временно, невидимое — вечно: вера, надежда, любовь. Лети к своей находке, счастливчик!

Проникший в сознание чудный образ предстал ещё более дивным. Желанным. Нина!..

Дама остановила «мерседес» возле кафе «Фрегат». Войдя в него, села за столик и заказала кофе-глясе и пирожное.

Официантка ушла с заказом на кухню. Оттуда послышался раздражённый голос:

— Сколько раз я тебя предупреждала! А тут ещё цены подскочили, аренда выросла! Вот мой ультимат и последний срок!..

Раздались упрёки:

— Да вы же видите: она в положении! Ей нельзя волноваться.

— Дайте отсрочку!

— Ладно, — смягчился голос. — Даю неделю. Если не заплотите, съезжайте!..

С заказом на подносе официантка вышла, понурившись. Дымился кофе, пряно пахло пирожным. Встретив вопросительный взгляд посетительницы, распрямилась, улыбнулась, словно и не тяготили невзгоды. Приветливая, милая женщина с едва заметным животиком.

Плату дама подала банкнотой в сто долларов. Девушка ушла за сдачей. Вернулась — дамы не было. На столе под салфеткой еще четыре банкноты и записка: «Сегодня мне помогли, и я помогаю вам». Девушка выбежала из кафе. И увидела отъезжающий «мерседес».

Дома она прижалась к мужу и поцеловала его руки:

— В цыпках, как у мальчишки.

И подала свёрток с деньгами и запиской.

— «Сегодня помогли мне, и я помогаю вам», — прочитал Андрей. — И богатым иногда хочется делать добро. — Милея душой к жене, обнял её: — И мы с тобой неизмеримо богаты!

— Богаты? — удивлённо спросила она.

— Да, Нинок, богаты! Любовью! Как сказывал мой друг Виктор Быков: просветлённый любовью дух внемяет благости и чуток к горестям нуждающихся. Помогающего человеку в нужде Бог жалует. И наша победа — Божия. И Он оставляет нам радость!

Екатерина Годвер и Алексей Шупиков — лауреаты XII фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» в номинациях «поэзия» и «проза». Конкурс ежегодно проводится Орловским отделением Союза писателей России. Его инициатором в 2011 году выступил поэт и публицист Геннадий Андреевич Попов (1940 — 2015). В жюри конкурса в разное время работали такие писатели, как А. Паршара, В. Дворцов, С. Донбай, В. Лютый, В. Артёмов, В. Ерофеева-Тверская, В. Муссалитин и др.

ЕКАТЕРИНА ГОДВЕР

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

В полудрёме мерещится снег,
Невесомый, как пух тополиный...
На окне —
Позолоченный иней
От душистой пыльцы разнотравья.
Соловей распевает заздравную;
Дрозд-рябинник трещит на заре.
Нынче солнцу гореть и гореть!
Ветер кроны деревьев ласкает.
Воробьиная наглая стая
Облепила сиреневый куст.
Только снег все никак не растает,
Как несладкая вата на вкус.

СЕЯТЕЛЬ

Береза, ель, осина, мачты сосен —
 Повсюду лес: мы все из леса вышли.
 Он тянет руки-лапы выше крыши,
 Хватает небо, мнет, кидает оземь,

Под ноги грибнику на скользкой тропке,
 Который через лес бредет устало,
 Как собиратель и неандерталец,
 Что безобиден и нерасторопен.

Ах, если бы!..
 Росли б в лесу грибы...

Сквозь пальцы и дырявые карманы
 Он в мягкий мох и листья белоуса
 Роняет гвозди, гайки, всякий мусор.
 Не видя неба, леса и нирваны,

Проходит мимо... А за ним неслышно
 Железо рвет податливую почву,
 И провода - лианами из почек -
 Сплетают сеть вокруг электровышек.

Он — Сеятель, не знающий родства,
 Взрастивший сам себя творец прогресса.
 Но — всё есть лес; и просека средь леса —
 Всё тот же лес. Опор чернеет сталь —

И рвётся ввысь, по-ёлочьи скрипя
 Железной геометрией скелета.
 Береза, ель, осина, вышки ЛЭПа,
 Пенёк гнилой — с семейкою опят.

Бери, грибник, свой ножик перочинный,
 Кромсай и режь! Шкворчи, сковорода!
 Ничто не умирает навсегда,
 Ничто не происходит без причины,
 В лесу от края мира и до края.

Ах, если бы кабы,
 Цвели столбы —
 Я бы мольберт забыла за сараем:

Пусть расцветет небесно-голубым.

* * *

Ночью небо в брызгах молока.
Грязь да иней — кофе с серебром.
Сосны зацепляют облака,
Падает монета на ребро:

Быть — не быть, забыть — не позабыть?
Катится оброненный обол.
Подле бабка-ёжкиной избы
Розовый безвременник расцвёл.

Перекаати-поле перека...
Тикают старинные часы.
Холодом учили дурака,
Холодом дурак по горло сыт.

Он стучит в окованную дверь:
«Отпирай, старуха, помогай!»
Ветер воет, снег летит наверх,
Топают куриная нога.

Вот бы растянуться на печи!
До утра не думать ни о чём,
Слушая, как времечко стучит
Маятника нёбным язычком.

Только хлад вокруг да ветродуй,
В ступе догнивает помело:
«Сгинула старуха на беду,
Но тебе, голубчик, поделом!»

Ветер свищит, сосны гнёт, шутя.
Падает монета на ребро...
И дурак уходит, как дитя
Безысходно веруя в добро.

ПОПЛАВОК

«Уходя, — учили, — уходи».
 Но понятный путь — не значит лучший.
 Щепка от хароновой ладьи
 На волнах качается в излучине

Речки быстротечной, что в веках
 Отражает алые закаты.
 Человек — у вечности в руках:
 Из воды не выйдет он обратно

На травой поросший бережок,
 И с крыльца крутого не окликнет..
 Сад засохший солнцем обожжен,
 Хлопает открытая калитка.

«Никогда», — галдят на проводах
 Жирные нахальные вороны.
 Плещется прохладная вода
 Под веслом уставшего Харона:

Не герой из мифов и не бог —
 Может быть, заплыл сюда случайно..
 Но не тонет щепка-поплавок,
 Для кого-то что-то означая.

* * *

Разломан хлеб, искрошен весь,
 И в воздухе роится взвесь:
 Писк комариный, плач и стон.
 Тропинки сходятся крестом,

Пожар медовый отгорел.
 Лишь на Кудыкиной горе
 Над костерком дрожит дымок,
 Да травы шепчутся у ног

О темноте, в которой нам,
 Как ни смотри по сторонам —
 Идти на ощупь за росой,
 Тушить угли стопой босой.

В ДЕКАБРЕ

Торчит из-под снега сухая листва,
Травы неувядающая зелень.
Декабрьский полдень помножен на два
У многоэтажки панельной:

Отброшенный окнами солнечный свет
Тикает подстреленным зайцем —
И теплыми пятнами кровь по листве
Стекает, как время сквозь пальцы.

Лови его, ну же! Не думай о том,
Что в ходиках злая кукушка
Стащила заветный бочонок лото
И подло нагадила в душу.

Не слушай навязчивых криков ее:
Скорми приبلудившейся кошке.
Пускай на верёвке замёрзло бельё,
Усыпано снежной крошкой —

Опавшие листья, как чипсы, хрустят,
Прикрыты вчерашней газетой.
Становится день чуть длиннее, хотя
Его не просили об этом.

Скачками уносится заяц в закат,
Петляет дворами пустыми.
Мурлыкает кошка и нянчит котят,
И чайник фаянсовый стынет

На маленькой кухне, где плещется тюль,
Исколотый солнечным светом,
Цветы на обоях, и скоро июль
Давно отгоревшего лета.

* * *

После больших снегов
Можно увидеть, как
Выходит из берегов
Асфальтовая река.

Плещется у двери,
Просится поглядеть
На пустоту внутри.
Медленно по воде

Жёлтый каток плывет,
Гладит за пядью пядь
Серую плоть ее —
И наступает гладь.

И наступает тишь.
Синие огоньки.
Ржавый молчит камыш
На берегу реки.

Только шепотку слов
Выбросило к ногам.
После больших снегов
Будут ещё снега.



АЛЕКСЕЙ ШУПИКОВ

ОБЕЩАНИЕ

Рассказ

Когда мне было одиннадцать лет, родители продали квартиру и купили дом. Скажу сразу, что к частным домам у меня тогда сердце совсем не лежало. И, в отличие от нашего многоквартирного, они казались маленькими и совсем ненадёжными.

Что касается самого дома, то был он деревянный, выкрашенный ярко-зелёной краской, и находился на самой окраине города. «Под горкой» — как говорили знакомые родителей. И это правда, он действительно был под горкой, причём стоял на очень крутом повороте.

Так вот, когда его купили, прежние хозяева, старуха с дочерью, не успели загрузить всё своё добро. «Нихань полежит пока, — стучала палкой по транспортёру старуха. — А осенью, край зимой, заберём».

Транспортёр, или транспортёрная лента, был ходовым материалом в наших краях (как правило, им огораживали приусадебные участки). «Осенью, край зимой», — как заклинание повторяла она, жалобно поглядывая то на отца, то на транспортёр. Отец одобрительно кивал головой: «Есть не просит, пусть лежит». На том и договорились.

Старуха уехала, крикнув в последний раз: «Осенью, край зимой!». А мы уже через пару дней переехали в собственный дом.

* * *

Летние каникулы, как это обычно бывает, незаметно пролетели, и начались школьные будни.

Как-то раз мы с моим другом Саней подпалили траву за домом. Сухое быльё полыхнуло не хуже пороха, и уже через пару минут пламя перекинулось на деревянный забор. Закончилось всё тем, что соседка Петровна вызвала пожарных. К счастью, расчёт приехал быстро, и пожару не позволили разгуляться. «Вот поймать бы этих поджигателей! — ругался усатый пожарный. — Шли бы к своим домам и подпаливали на доброе здоровье!» Мы же молчали и лишь переглядывались друг с другом. В тот вечер меня порол ремнём, да так, что я до сих пор помню всё в мельчайших подробностях. Кстати, отец после этого всё чаще и чаще начал заглядываться на скручен-

ную у сарая транспортёрную ленту.

* * *

Однажды я проснулся оттого, что на кухне спорили родители.

— Муж, ну ты же ей обещал!

— Обещал-обещал! Мало ли чего я обещал!.. Она тоже обещала — осенью!

— Она говорила «осенью или зимой».

— Так вот она, осень твоя!

— Ну, значит, зимой!

— До зимы знаешь?!

— Что?!

— Да ничего... Мы и так все деньги вбухали в этот дом. А я, между прочим, не Рокфеллер, у меня на новый забор денег нет!

— Петь, ты слово дал!

Отец выругался и, громко хлопнув дверью, вышел, а я в буквальном смысле выдохнул. Мне совсем не хотелось расстраивать старуху. Тем более что она и так не хотела продавать дом, а тут ещё и транспортёр этот.

Так он пролежал осень, зимой его завалило снегом, а когда с крыш забарабанила капель, он снова попался на глаза отцу.

* * *

В одно воскресное утро мы сидели на кухне и пили чай.

— Оль, скоро одуванчики зацветут, где твоя бабуся?! — прихлёбывая, начал отец.

— Зацветут... — краешком губ улыбнулась мама. — Вчера видела Петровну, говорит, якобы Тамара умерла...

Тамара — это старуха, у которой мы купили дом.

— Вот и отл... — отец осёкся. — Ну, ты поняла...

Мама покачала головой и уставилась в окно: «А может, пусть полежит ещё?..»

— Оль!

— Ну что, Петь?

— Нет уже твоей бабки, вот что!

— Ой, всё! — махнула она рукой. — Делай ты что хочешь! Надоело!

Отец, как человек военный, команду понял буквально и этим же вечером взялся за дело, заодно прихватив с собой и меня. «Учись руками работать, сынок, — приговаривал отец, наяривая молотком. — В жизни всё уметь надо!»

На постройку нового забора у нас ушло примерно около недели. Мама уже больше не переживала и вечерами выходила помогать. И вот одним таким вечером, когда забор был практически готов, возле нашего дома оставилась машина.

— Петь, к тебе что ли?

— Да вроде нет...

Отец оказался прав. Вернее, не то чтобы прав, приехали не к нему, а к

нам. Старуха и дочь. Мама так и ахнула. Старуха, перекатываясь с одной ноги на другую, подошла к забору и ухватилась руками за транспортёр.

— Ну я же вас просила!.. — запричитала старуха.

— Год прошёл, они проснулись?! — не оборачиваясь, пробурчал отец.

— Олечка, ну хоть ты ему скажи! — взмолилась старуха. — У меня инсульт...

— Петя, давай отдадим!

— Раньше надо было вошкаться!

— Петя!

— Нет, я сказал!

— Ну!.. — зашипела старуха, — ну!..

А затем потрясла палкой и разразилась проклятиями:

— Да чтобы этот транспортёр у вас на кладбище оградой был, чтоб вам всем...

— И вам того же! — отрезал отец.

Старуха закатила глаза и, если бы не вовремя подоспевшая дочь, точно упала бы в обморок.

— Только не волнуйся, только не волнуйся! — лепетала дочка, злобно поглядывая на нас. — Так, давай-ка садись, ага... вот та-а-ак...

Она усадила её в машину и резко рванула с места.

— Некрасиво, ох, некрасиво... — побледнела мама и быстренько ушла домой. А отец сначала долго сопел, а потом выругался на меня и угостил увесистым подзатыльником.

* * *

Вечером я пошёл за водой, а мама решила подышать свежим воздухом. Завидев маму, к нам присоединилась Петровна.

— Капта зря вы так, — топталась на месте Петровна. — Тамара она такая, она сделать может. Давча видела Михалну, так та сказала: «Тамара это просто так не оставит. Она женщину знает».

— Петровна... — через силу улынулась мама, — мы в это не верим.

— Ой, сделает... — не унималась Петровна. — У меня картошка завсегда хуже ейной была, а всё через женщину ту. Огороды у нас, ты глянь, — она сложила ладошки корабликом, — рядышком стоять, только у неё урожай, а у меня — медведка да хомяк.

Мама задумчиво глядела на Петровну и кивала головой.

— Надьсь Михална рассказывала, был у неё платок. Хороший платок, тёплый. Тамара увидала и говорит: «Гдей-то ты себе такой платок купила?»

Тут Петровна замолчала.

— И?

— А то что утром взяла платок, а он изрезан весь! Не веришь? Могу принести!

— Кого?!

— Ну платок то этот!

— Так он что, у вас?

— Ну да! Мне Михална его отдала, сначала хотела сжечь, да я не дала.

— И что же вы с ним сделали? — спросил я.

Петровна развела руками и спокойно ответила: «Ничего не сделала, носю вот».

Я не сдержался и начал смеяться. Глядя на меня, мама немного ободрилась и, ещё немного поговорив с Петровной, пошла домой.

* * *

На другой день часть, в которой служил отец, подняли по тревоге, и он, наспех собравшись, уехал. Причём, как только я узнал о тревоге, мной сразу овладело такое неприятное предчувствие, что все уроки я просидел словно в прострации и к концу учебного дня получил аж три двойки подряд.

Наконец отмаявшись в школе, я пришёл домой. Мама молча сидела у выключенного телевизора с пультом в одной руке и телефоном в другой.

— Отец сегодня так и не позвонил... — взволнованно сказала она.

— А что за тревога вообще?

— Да вроде бы как всегда... Почему тогда не звонит? Никогда такого не было, — мама вдруг так посмотрела на меня, что у меня аж мурашки пробежали по спине.

Почему-то сразу вспомнился случай, когда во время стрельб в нашей части взорвался миномёт. Тогда погиб отец моей одноклассницы.

— Может, телефон сел или ещё что.

Мама кивнула.

— Как школа?

— Нормально.

— Иди поешь. Суп на плите.

— Хорошо.

— И мяса положи! — крикнула мама вдогонку.

— Положу.

Но мяса мне совсем не хотелось, и, поболтав ложкой в тарелке, я вылил всё в унитаз.

* * *

Когда в нашу дверь постучали, я делал домашнее задание. Сердце у меня тогда точно оборвалось, и я, затаив дыхание, притих. Я слышал, как мама, потеряв на ходу тапки, побежала к двери. Слышал, как долго не поддавался замок. Слышал, как звонко упали на пол ключи. Слышал её взволнованный голос. А затем наступила тишина, и мама вошла ко мне в комнату.

— Это к тебе, — с каким-то облегчением сказала она.

Я вышел на крыльцо. «Кошкин домик», как мы его называли. Саня к тому времени уже сидел на диване.

— Уроки сделал, двоечник?

— Ага... — усмехнулся я.

— Гоу на стадику!

— Ща. Ма! А можно я пойду погуляю?! — крикнул я.

— Уроки сделал?!

— Вечером доделаю, там чуть-чуть осталось!

— О, заливает, — расплылся в улыбке Саня.
 Я стукнул его в плечо. Саня стукнул меня в ответ.
 — Чтоб недолго, понял!
 — Понял!
 — Понял, — перекиривляя меня Саня и сделал «саечку за испуг».

* * *

На стадионе мы встретили знакомых ребят и начали играть в догонялки. Причём в какой-то момент мне вдруг стало так весело, что от тревоги, мучившей весь день, не осталось и следа.

— Андрюха идёт... — насупился Саня.

Андрюха — это его старший брат.

— Сто пудов скажет домой идти.

Отец ребят затеял стройку и, когда приходил с работы, активно прививал им любовь к труду.

— Вить, — крикнул мне Андрей. — Иди домой!

— С чего вдруг?!

— Тебя мамка искала!

— А что случилось?!

— Говорю же, мамка искала!

Попрощавшись с Саней, я пошёл домой.

* * *

Когда я начал спускаться с горки, то сначала увидел толпу возле нашего дома, а потом огромный пролом в стене и торчащую из него машину. Красный микроавтобус зацепился задними колёсами за фундамент и в таком положении замер прямо в нашем зале. Взрослые, завидев меня, расступались и с каким-то наигранным сожалением кивали мне вслед. «Вон! Пошли все вон из моего дома!» — захотелось крикнуть мне изо всех сил, но это уже был не мой дом. В этом — разбитом, хозяйничали уже другие люди с молотками и монтировками. Я перепрыгнул разбитый в щепки штaketник, от сильного удара его раскидало по комнате, и зашёл в зал. Комната была завалена выбитыми брёвнами с дранкой, а в шкафу стояли хрустальные бокалы, покрытые толстым слоем пыли. «Витя, только не волнуйся, мама жива!» Подбежала крёстная. Только сейчас я вспомнил о маме. Её действительно не было дома. Я глянул на кресло, в котором она обычно сидела, и увидел труп незнакомого человека. Раскинув руки, он уткнулся окровавленной головой в мягкий пуфик. Крёстная схватила меня и попыталась прижать к себе, но я оттолкнул её.

— Где мама? — спросил я у крёстной.

— Она в больнице, Витя, с ней всё в порядке! Витя?

Я выскочил на улицу. «Она врёт мне, они все врут мне!».

— Где мама?! — закричал я.

И тут я увидел маму. Она выбежала из скорой помощи, растрёпанная, в домашнем халате и тапочках. Я кинулся к ней навстречу.

— Я жива, сынок! — крепко обняла меня она. — Я жива...

* * *

Теперь мы жили в семье нашей крёстной. Мне нравилось у них. Особенно нравились вечерние разговоры на кухне. Бывало подождёшь, как курица, озябшие ноги и слушаешь разговоры взрослых.

«Ведь стоял же дом сколько лет, — удивлялась крёстная, — и ничего!». «И ничего...», — повторила мама и начала рассказывать про Тамару, транспортёр и проклятие. «Сделано! — заключила крёстная. — А ведь я так и думала! Сколько дом у Тамары стоял? А стоило только вам купить и всё! — тут она немного подумала и добавила: — А, может, это вообще только цветочки...» От этих слов у меня мурашки побежали по спине. Стало до того страшно, что я начал просить Деда Мороза защитить нашу семью. Конечно же, я знал, что подарки под ёлку кладут родители, а не Дед Мороз, но если есть зло, то должно же быть и добро. Но никакого другого «добра» кроме Деда Мороза я не знал.

Как-то раз мама сказала, что нужно сходить в церковь, но на этом всё и закончилось. В церковь мы не пошли, слишком много было дел на выходных, и я так и продолжал дальше просить Деда Мороза о защите.

* * *

Прошло примерно два месяца, и дом был восстановлен. Теперь перед ним, как в фильме «Блокпост» выросли бетонные блоки. А сам домик мы выкрасили весёлой бирюзовой краской. «Ешшо лучше, чем было!», — говорила Петровна. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — отвечал отец. Конечно, всё это было благодаря помощи людей. В те два месяца, казалось, весь городок пришёл в движение, и каждый стремился нам помочь.

* * *

Мы красили штaketник, когда у дома остановилась машина. Это была старуха, только теперь она была с дочерью и зятем.

— Оля, дочь — заплакала старуха.

Мама так и задрожала.

— Оля, мы вот тут собрали, — она протянула конверт.

— Не надо, оставьте...

Все замолчали.

— Муж, чтобы сегодня оторвал транспортёр и отдал его! — еле сдерживая слёзы, сказала мама.

— Што ты, Оля, што ты?! Мне уж помирать скоро, прости ты дуру старую.

Она хотела приобнять её, но мама в страхе отшатнулась в сторону.

— Не подходите ко мне! И как вам только не стыдно! Да мы чуть не погибли! — задыхалась мама.

Я никогда не видел её такой.

— Уходите! И деньги свои заберите! А забора этого, что бы сегодня же не было!

Старуха потопталась на месте и, положив конверт на блок, села в машину.

— Я здесь ни при чём, — сказала напоследок старуха и уехала.

* * *

Только потом мы узнали, что после этого разговора старуху разбил новый удар и она умерла в больнице. До сих пор я не знаю, колдовала ли она тогда или нет.

Прошло много времени. Мы продали дом и переехали в другой город. Мама начала ходить в церковь, и вот однажды в её молитвослове я нашел листок бумаги. После имён бабушки и дедушки стояло имя Тамара. «Та самая?» — спросил я. «Та самая» — ответила мама.



Книга „Тринокуляр“ — автобиографическая повесть с элементами фантазмагии, оригинальный философский труд и богословский трактат — три текста, объединённые попыткой осмысления человеческого дара „узрения мысли“ и её собственной парадоксальной природы. Представляем вашему вниманию начало повести „Люцифериада“, а также фрагменты обоих трактатов, предоставленные для публикации автором.

ЮРИЙ КУЗИН

ЛЮЦИФЕРИАДА

Повесть

Все ждали дьяволиаду, но, вычитав из повести, которую я выложил в сеть, что не бес вселяется в человека, а человек зачинает, вынашивает и изгоняет из себя падшего духа, читатели стали крутить пальцем у виска: мол, автор не в себе, — что, впрочем, не далеко от истины. Ведь быть в своей тарелке — значит отдавать себе отчёт в происходящем. Но тому, кто угодил в дьявольскую стремнину, не остаться на плаву: здесь штормит, здесь крыши сносит... Выжив в тайфуне, я вынес из злословий мысль, что зло всегда моё. И даже если другой позволит злу свить гнездо и вывести птенцов, будет кормить их сырым мясом из рук, всё равно он не заразится злом. И будь он трижды насильником и убийцей, зло не заключит его в объятия. Почему? Да потому, что злу нет дела до других. Злой дух счастлив со мной. Злой дух — однолюб. Вот, что я вынес, зарабатывая извозом у бесов, осёдлавших мой ум и сердце, чтобы пускаться, то иноходью, то рысью, то галопом.

А написав повесть о Люцифере, я вдруг понял, что зло сидит в нас, как герпес, ждущий непогоды, чтобы обсыпать слизистую, что угли зла тлеют в душах из века в век, но что одни топчут пламя, а другие — раздувают. И со всем неистовством неофита, бьющего поклоны перед святыми иконами, я рассказываю, как взрыхлил себя и засеял чертополохом. Проза моя восходит на дрожжах, где бродят соки бодяка и кислицы, бородавника и свиного... И, сев за работу, я хочу вывести себя на чистую воду, чтобы намять бока собственному тщеславию. Но повесть вьёт из меня верёвку, таскает за волосы и лишает сна. Я измотан, выжат как лимон, а ум мой походит на рынок после закрытия, где на прилавках хоть шаром покати: одни сюжеты провоняли, как тунцы на солнцепёке, другие — свалялись, как руно запаршивевших овец... И вот я стал выработкой, из которой шурфами вынули породу... К тому же я стряпаю без поваренной книги, и не недалёк тот час, когда редакторские желудки выбросят белый флаг. Но случится это не скоро. Ведь,

скатившись кубарем в яму, я завёл тетрадку, куда заносу ухабы/ушибы. Их подсчитывают читатели с карандашом в руке, точно решая сканворд. И пока проза моя кровоточит, совать нос в трюм корабля, терпящего бедствие, не выходит из моды... Но не ищите меня в шорт-листах литературных премий. И хотя я и снял короткометражку о детстве Гитлера, имя моё не полощет ветер на афишах Берлина, Венеции и Канна... И даже в Википедии, куда я угодил скорее по недоразумению, меня выставили мотом, спустившим авансы. И если, любезный читатель, тебе припечёт узнать, куда Господь сплавляет тех, кто не оправдал надежд, но всё ещё верен долгу, садись в промозглый петербургский трамвай, где в оранжевом жилете я дремлю в кондукторском кресле, подпрыгивая на ухабах и жужжа, точно дрозofiла:

— Обилечивайтесь, черти, а то оштрафую!

Меня пытались прихлопнуть, гнали в форточку. Но всякий раз, взывая к повелителю мух, я отделяюсь испугом. И вот, обложившись гаджетами, я пишу повесть о падшем духе. Но и повесть, обложившись мной, правит моё житие, как правят рукопись незадачливого автора.

«Но довольно!» — я беру повесть, как берут падшую женщину. Отныне я решаю, какую фразу швырнуть на читательский штык, а какую — сунуть за ухо, как изгрызенный плотницкий карандаш. Начать я хочу со слов Иисуса: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме»¹. В отрочестве, оглушённый этой фразой, до глубокой ночи я петлял под проливным дождём. Я потерял аппетит и сон, на уроках отвечал невпопад, и всё клаал на зуб орешек, чьё ядрышко не желало казаться носа. Что за напасть такая, что за мука — это «последовать»? И почему тех, кто последователен, хвалят, а тех, кто непоследователен, ругают? Мысленно я ставил ногу след в след вожатому, шёл по тропе, проторенной товарищем, и чудо произошло — свет явился; свет был во всём: в косых лучах закатного солнца, в белизне книжного обреза, в молоке, которое я пролил на скатерть... Но белизной отдавала и кожа мальчика альбиноса, соседа по парте, — он умер от малокровия. И я запомнил его звенящие светом глаза, когда, однажды он шепнул мне, что с интернатом покончено, а спустя час его увели умирать бабушка и дедушка, сказав классу, что ученику предстоит бить баклуши в санатории. Свет, исходивший от приятеля, с которым мы больше дрались, чем держались за руку, как близнецы, которые боятся, что их разлучат, — этот свет был чёрен, как ночь. Наши койки в казарме для сирот стояли рядом. За окном бушевал ветер, раскачивая столетние ели, а из мрака доносилась ругань ночного сторожа, — хромой старик околачивал забор, опоясывавший спальный корпус. Тогда свет робко казал нос в лампах, раскачиваемых порывом ветра. А когда, войдя в класс, историчка, смахнув слезу, сказала, что мальчик умер, не приходя в сознание, я понял, что свет и смерть — заодно. Ночью меня бил озноб. И, вздрагивая от слёз, вспоминая товарища детских игр, я с благоговением шарил по ледяной койке, чью выправку поддерживал все эти долгие месяцы. Свет мстил! Свет убивал! И если бы тогда, на заре юности, появился взрослый, кто бы разъяснил, что свет — вотчина Люцифера, что бес души вытрясет за это сокровище, не было бы ни этой печальной истории, ни нужды автору её рассказывать.

Итак, я стал фанатом света, и даже переехал в Москву, где свету поклонялись, как богу. Жрецы называли себя режиссёрами. ВГИК был их храмом.

— И кто же бог? — в шутку спросил я у методистки, вбивавшей моё имя в графу «студенты».

— Люцифер, — перешла на заговорщицкий шёпот девица. — А тех, кто сомневается, я прошу разъяснить, почему *Lucifer* с латыни переводится, как «светоносный».

Тут она бросила на меня взгляд преподавателя, принимающего зачёт, и спросила:

— Вот «lux», как оно переводится?

— Не знаю...

— Как «свет».

— А «fero»?

— Ума не приложу...

— Как «несу»... Выходит, Люцифер — тот, кто несёт свет... А кино — это свет и тень, это вам любой оператор докажет.

При этом сорока, принёсшая на хвосте сплетню, поспешила откреститься от дьявола, мол, всё это «враки» и «досужие домыслы». Но я сказал, что свет — награда расторопному, и хорошо, если им окажется Господь... Слова мои сорвали с вертихвостки напускной лоск, за которым проступил слабый человек, чьим претензиям мир указал на шесток. Сердце моё смягчилось. А честолюбие потребовало вытащить на свет до боли щемящее воспоминание, обладание которым вознесло бы меня на пьедестал морального превосходства. И я захотел рассказать о бедном мальчишке, которого держали в неведении о смерти, стоявшей у изголовья, о промозгом ноябре, когда, надев интернатовские ботинки, не подбитые мехом, казённое пальто, висевшее на мне мешком, я рыдал у свежевырытой могилы, а затем зачерпнул и бросил на детский гробик комья мёрзлой земли. Но со ВГИКом лучше попрдержаться коней... Десять раз я обивал его пороги. Но ректор N заломил такую цену за диплом, что похоронных денег богомолок Москвы не хватило бы, чтобы оплатить семестр. И, проучившись, год, я был исключён за ветры в карманах... Всю ночь я раздаривал книги и вышел из общежития больным, постаревшим и с тёмными кругами под глазами. Добравшись до киевского вокзала, озябшими пальцами я сунул кассиру деноминированные рубли. Но стоило мне набрать воздух в лёгкие, уже подёрнутые ноябрьским ледком, стоило произнести: «один плацкартный до Львова», как вострить лыжи мне помешали парки и мойры... Но прежде, соткавшись из Ничт, гигантский зонт-трость насадил меня на штык, а табор, сопровождавший субъекта без особых примет, гомоня, стал оттеснять к выходу.

— Но мой плацкарт, — запротестовал я, и услышал властный голос из вокзального динамика, который, назвав моё имя, потребовал не пытаться садиться в поезд, который, к тому же, «отменён».

— Что за злые шутки, — не унимался я.

— Никаких шуток! — пресёк мои сомнения голос, и велел вернуться на двухстворчатый диван.

— Но зачем? — с тоской и грустью выдавил я из себя, как выдавливают

засохшую пасту из тюбика.

— Не глупите и делайте, что велят! — бросил лукавый советчик, хромая на правую ногу, и сверкнул мне на прощание платиной своих коронок. Только я попытался возразить, как меня стало тормозить свиное рыло, набросанное неумелой рукой уличного портретиста.

— Да перестаньте же трясти, вы, не человек! — заорал я, а через час широким жестом ларёчника, спускающего барыш в тракторе, выложил перед оторопевшей комендантшей пять новеньких стодолларовых купюр. Деньги взял и бухгалтер, сказав, что теперь я могу посещать лекции. Диплом? Забудьте! И я забыл... Но, забыв, снял короткометражку о детстве Гитлера, после чего побывал в Канне, вновь стал студентом и повторно был исключён... Бес, устроивший эту кутерьму, жадно ловил удивление в глазах публики, для которой «взлёты» и «падения» способствуют пищеварению и проваливают в сон куда глубже, чем неразрезанный роман. Прошло двадцать лет. Прекрасный повод заглянуть в шкаф со скелетами, подумал я и написал письмо новому ректору. Тот набрал в рот воды. И решив, что войти в прошлое также легко, как запрыгнуть в вагон метро, я стал заполнять пустоты и изъятия, как антрополог, извлёкший из русла пересохшей реки череп гоминида, восполняет глиной недостающий фрагмент. Я так поднаторел в реконструкциях, что без труда угодил в 1996-й, когда институтский бухгалтер расторг со мной договор. На прощание он подал руку и посетовал, что режиссура «не каждому по карману».

— Не каждому... — повторяю я, как мантру, и готовлюсь забиться в щель, из которой совершил свой наскок. Но у кассы Киевского вокзала я получаю зонтом в пах.

— Осторожнее, — дерзко уставляюсь на молодящегося старика с копной вороних волос, красиво отброшенных на затылок. — Ваш зонтик... Зачем он, если нет дождя?

Весельчак заводит трость за спину, а шёлковый шарф, полоской бисквита окаймлявший прогорклый корж пальто, изящно перекидывает через плечо. Затем, слегка прихрамывая на левую ногу, он подходит ко мне. Бездонно-чёрные, подёрнутые лазорево-жемчужной дымкой глаза его пускаются в пляс. Меня знобит.

— Вот навязался, — я стучу зубами от холода. А снеговик в ухо мне шепчет леденящие душу слова о фильме, который сварганить можно за гривенник...

— И о чём же? — вяло отстраняю незнакомца и тут же пытаюсь взять в толк: откуда мешок со льдом узнал, что я режиссёр?

— Да вашими афишами Москва обклеена, — смеётся хлыщ раскатиисто и по-детски, — а уж я-то слежу-с и знаю-с, что вы, юноша, без пяти минут лауреат, и что фильм затеяли об одном преужасном австрийце...

Сбитый с толку осведомлённостью гражданина, я мучительно ищу в чертах его лица и голосе сходство с теми, кого знал и любил... Тут происходит нечто невероятное: уменьшившись до размера уховёртки, субъект стал вворачиваться в мою барабанную перепонку. Ну, уж дудки! Только собрался выдворить тварь, как бес на роговицу взобрался и давай отплясывать. Что за

напасть? Я приложил ладони к вискам, но жара не почувствовал. Рассудив, что ум порой выкидывает и не такие коленца, я выпростался из очереди и стал плута из глаза выковыривать. Но куда там! Чёрт уже в мозгу лютует: осёдлывает мысли и пускает, — то иноходью, то рысью, то галопом...

— Посторонись! — вор угощает плетью мои страхи, надежды и застарелые обиды. Но, изловчившись, я стаскиваю конокрада с рысака и запрыгиваю в седло. Мысль несёт, а у Дома кино, что на Васильевской улице, становится на дыбы и стряхивает седока. Не удержавшись, я выпадаю из седла, но ногой застреваю в стремени и до глубокой ночи волочусь по Садовому кольцу.

Очнувшись на нетопленной летней даче с давилкой для сидра, неделю я отлёживался. А когда нагрывавшие москвичи не обнаружили в холодильнике килограмма сосисок, головки сыра, а в серванте, сосланном двадцатью годами ранее, в сахарнице, не досчитались тысячи двухсот рублей, меня попросили навсегда забыть дорогу в этот дом. На выходе меня встретил бес, сказав, что и не такое бывает, что однажды его обвинили в том, что он «искусал грудь, которая его вскормила...» А всего-то стащил у девицы, сдавшей ему угол, дольку шоколада из плитки, которая, как выяснилось, была просрочена.

— А теперь в Москву, — чёрт втолкнул меня в электричку. — Бухгалтер не любит ждать. И, доехав на перекладных до ВГИКа, я вошёл в бухгалтерию.

— Кажется, мы не договорили, — бросил я с порога и сел на приставной стульчик. — Вы ещё сокрушались, что не каждому кино по карману...

— Что-то не припомню, — бухгалтер оторвал глаза от бумаг.

— Вот деньги, — кладу конверт. — Теперь я могу посещать лекции?

— Разумеется...

— Я вернулся, чтобы доказать вам, но прежде — себе, что фильм можно соткать даже из воздуха...

Бухгалтер пересчитывает купюры, откидывается на спинку кресла и смотрит мне в лицо, мучительно припоминая, — но, скорее, разыгрывая недоумение. Всё он знает и помнит, и эту осведомлённость я читаю в причудливо скроенных чёрных глазах, тугой нитке губ, словно прошитых изнутри хирургической стёжкой. Сбивают с толку бледно-пунцовые щёки, которыми смерть, прежде чем засучить рукава, метит своих избранников. Он пожирает меня глазами как предмет страсти. Ему лет тридцать. Загнутый орлиный нос с широкими крыльями у основания выдаёт чувственность, которую выпестовали и принудили стусеваться. Череп как у муравьеда, затылок, вмятины от дужек очков на скуловых костях, — всё это фамильное серебро, давно не чищенное, соседствовавшее с дуэльными пистолетами, связками любовных писем, он выкладывает передо мной длинными и тонкими пальцами Паганини, не ставшего маэстро лишь в силу недоразумения. Я ловлю себя на мысли, что знаю этого человека. Но кто же он? И почему бы ему самому не выложить карты на стол?

Бухгалтер усмехается, точно слышит шорох моих мыслей. И по глазам, подёрнутым лазерево-жемчужной дымкой, я узнаю владельца зонта-трости.

— Простите, — говорю я, озадаченный внезапным открытием. — Дума-

ете, у меня получится?

— А вы рискните, — говорит бухгалтер. Он смотрит на меня с любовью и нескрываемым обожанием, — так нумизмат, заполучив старинную монету, подолгу согревает её в кулаке. Меня смущает этот восторг. Выйдя из кабинета, я тут же забываю и типа с зонтом, и его двойника с черепом муравьеда. Я был так счастлив, что напрямик отправился в общежитие ВГИКа, завалился на диван и стал обшаривать ум в поисках сюжета для короткометражки. Воспоминания дефилировали на подиуме памяти в обновках, купленных на блошиных рынках прошлого, и только усач не желал покидать кулис. Я вытолкал лежебоку окриком. И мизантроп, застѣгнутый на все пуговицы, попросил не церемониться с ним и задавать трѣпку, как гимназисту, таскающему двойки. Я даже осѣкся. А приглядевшись, узнал в обладателе пышных усов и волос, откинутых на затылок, Леопольда фон Захер-Мазоха — когда-то я написал о нём сценарий для Романа Виктюка. Почувствовав, что 90-е внесли сумятицу в умы, скроенные по советским лекалам, что общество расколото на «палачей» и «жертв», Виктюк искал и нашёл, как ему казалось, персонажа, способного указать на тектонический разлом в сердцах. И, оказавшись при деле, целый год я нахлебничал, эккерманствовал и увивался хвостиком за маэстро. Мне позволили не снимать шляпу в присутствии короля. А когда актѣрам доставалось на орехи, я хватался за блокноты, чтобы то, что вертелось у неистового Романа на языке, угодило на кончик моего пера. Я стал своим в «круге Георге», и кто только не записывал меня в любовники стареющего Фавна. Виктюк отшучивался и говорил, что я не в его вкусе. И, чтобы закрыть тему, намеренно картинно пальпировал мою впалую грудь. Поставив диагноз «дистрофия», он ехидно улыбался уголками больших чувственных губ. А однажды, брутально схватив меня под локоть, втолкнул в еврейскую квартиру на Арбате. Препоручив «гоя» старику ребе, сбитому с толку незванным гостем, Виктюк уселся за праздничный стол, где мне было велено подкрепиться форшмаком. И сын Фарры, отец Измаила и Исаака, узнав, что я не обрезан и не способен отличить алахический мидраш от агадического, рассмеялся, как только умеют смеяться сыны Израиля, столкнувшись с невежеством. Но, проинспектировав мой ум, он нашёл его не совсем потеряннным для Торы и со всей душевной прямоотой принялся посвящать меня в тайны «Йециры», «Багиры» и «Зобара».

Мы весело провели год в ожидании денег. Раз десять Виктюк приводил меня на Тверскую, где режиссѣр жил в бывшей квартире сына Сталина, Василия. Первым делом он жаловался на домработницу, таскавшую кофе из кладовой. Мы шли на кухню, где Роман Григорьевич угощал меня польским борщом, в который следовало класть отдельно сваренный картофель и непременно из холодильника. Отобедав, мы отправлялись пить чай в гостиную. Здесь включался видеоманитофон, где на кассете витийствовал Глен Гульд.

...автокомментарий

Пианист восхищал, утомлял и раздражал. А своеобразная манера Гульда дирижировать свободной рукой, бормотать и подпевать там, где, как ему казалось, уместна вокальная партия, вызвала у меня приступ хохота. Виктюк же видел в

своеволии исполнителя признаки гениальность и сокрушался, что отец музыканта отключил сына от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Ужимки пианиста Виктюк наматывал на ус. Репетируя, он то вскакивал с треножника, как пифия, впавшая в экстаз, то дирижировал и завывал, как великий канадец. Обладая решительностью Бонапарта, сердцем Казановы и умом Макиавелли, Виктюк напоминал горн, в котором плавилось золото и чеканились монеты с профилями королей, проститутток и убийц. Он боготворил юность, и ставил на неоперившемся ещё артисте «горячую печать» из угроз и проклятий, мольбы и слёз. Этим «тавро» он клеймил психику, ревностно следя, чтобы раны не затягивались. Толстокожих Виктюк изгонял. Актёры для него были волками, которых следовало обкладывать красными флажками и направлять на засадный полк. Пленив зверя, он выкладывал мясные обрезки от одной мизансцены к другой. И рисунок, предложенный Виктюком, артист принимал как дар, если не был разборчив, и тяготился им, если обладал хотя бы крупницей тщеславия.

Как-то после репетиции Виктюк затащил меня в бутик, чтобы одобрить пиджак, который не решался купить из-за дороговизны. Пиджаки были его страстью. Их было больше трёхсот. И с безумными глазами он кружил по Пассажу, требуя от меня принять решение. Я сказал: «Берём!» Тут же Виктюк расплатился и так бойко стал выталкивать меня из магазина, что я даже подумал: а не стащил ли он какую-нибудь золотую запонку? При этом режиссёр ругал себя за растраты на украинском, польском и итальянском аргю. А когда мы поднялись на лифте к двери его квартиры, он впервые не впустил меня, сказав, что денег на фильм достать не удалось, и что пиджак я могу оставить себе. Я отказался. И он захлопнул дверь перед моим носом. Иногда, чтобы расстаться, ищут повод. Здесь повода не было. И мы распрощались так же просто, как и встретились — у квартиры сына Сталина Василия.

Рана, причинённая этим воспоминанием, бередила, не давая уснуть. А спустя месяц я снял копеечный этюд о Мазохе. Узнав, что сынишка виделся с незнакомцем, зачавшим к матери, отец пытается выудить имя повесы.

— Я умею развязывать языки, мой милый, — говорит отец. Застегнув китель полицмейстера на все пуговицы, он кружит над Северином, как коршун над бельчонком. — Дыба? Испанский сапог? Утопление?... С чего начнём?

Северин сам подходит к коврику с горсткой сухого гороха, вылущенного из стручков крепкими и заботливыми пальцами старухи служанки.

— Горошек, — смиренно шепчет мальчик и врезается в коврик острыми, как бритва, коленками.

...автокомментарий

Ребёнка бьют! За что? И почему Господь бездействует? Я слышал ропот толпы, упрёки и проклятия в адрес Создателя. И, чтобы отвести наветы от Бога, написал «Теодицею 1», где есть пассаж: «Если рассказать бесу о свободной воле, то зло, вероятно, выберет и сожжёт плевелы из своих семян. Почему я так наивен? Да потому, что голос совести звучит во всех уголках Вселенной, но прежде — в сердцах падших духов».

Я снял этюд об унижениях и оскорблениях, которые ранят, но и одаривают фантазией. Остались досъёмки и в паузе, чтобы вникнуть в детали быта «австрийского Тургенева», я углубился в архив Мазоха. Узнав, что романист склонял мать своих детей к супружеской измене, что грозился утопиться, если в ту же ночь не станет «рогоносцем», я призадумался: кто из двоих в большей степени жертва, а кто палач... А когда из мемуаров Ванды я вычитал, что любящая супруга, заламывая руки, шла, как на плаху, в «номера», где её тело, как глину с ракушками, в которых вызревал речной жемчуг, разминали цепкие пальцы приказчиков и кучеров, я почувствовал приступ дурноты... Меня мутило. Когда я вошёл в ванную комнату, пол и стены окрасились в цвета ярости, которая долго ждала случая, чтобы излиться... Тут из мрака соткался субъект с зонтом-тростью. Вперив в меня лазорево-жемчужные глаза, он подал стакан воды, а когда я с жадностью отхлебнул и утёр тыльной стороной ладони губы, прошёлся по комнате, переступая через стопки книг. При этом прогорклый корж его чёрного пальто окаймлял ломкий бисквит шарфа, чья тревожно-пронзительная белизна ностальгировала по временам, когда не было отпадания, и когда свет демона врачевал, а не опалял... Он выгреб из стопки книг видеокассету с «Мазохом», с укором покачал головой и сказал, что магнитная лента не терпит пыли и горячего кофе, если его пролить, будучи в подпитии.

— Но я не употребляю ни спиртного, ни кофе, — сказал я.

— И напрасно, — сказал он. — Алкоголь веселит, кофе бодрит.

Бес лукаво улыбнулся, сверкнув на прощание платиной коронок, и вышел через дверь, заперев её снаружи своим ключом. В тот же миг что-то произошло в дальнем космосе, какая-то сверхновая вспыхнула и озарила участок неба, иначе как объяснить, что, крепко сжав пальцами кассету, я ударил её о стену, придавил босой пяткой, а затем стал вытаскивать магнитную ленту и наматывать на локоть. Схватив кухонный нож, я кромсал ленту, тяжело дыша, и чувствуя, как пот застит глаза. Утром, отловив меня в столовой ВГИКа, декан С. сказал, что Кшиштоф Занусси, которому благоволит сам понтифик, выудил Мазоха из вороха VHS кассет и предлагает мне стажироваться у Анджея Вайды. Выходит, я уничтожил не всего «Кавалера розог»? И я немедленно отправился в Краков, чтобы найти концы и сунуть их в воду.

В киношколе преподавали иезуиты, культивируя бедность, послушание и целомудрие. Узнав, что я поклонник Станиславского, псы господни стали доказывать порочность русского театра, у которого «подрезаны крылья...» А разглядев в стажёре впалые от недоедания щёки, подробно и в красках живописали конфирмационный стол, который устал поджидать едоков. К концу третьей недели Польша высосала меня, как жадный младенец грудь. Возвращения в Россию я ждал, как еврей — манной. В Москве слёг с температурой, бредил трое суток, раскидавшись на влажных простынях. Всё это время призрак Мазоха сидел насупившись в углу комнаты.

— Ты охладел ко мне, — сказал он, когда я разлепил веки. — Считай, что я наказан. Так как насчёт этюда? Ты будешь переснимать?

— Нет.

— Почему?

— Ты замучил жену.

— Она изменяла мне с кучером...

— Брось! Ты подкладывал несчастную под мужчин, чтобы оскорбиться и сочинить новеллу к свежему номеру газеты...

— А ты таскаешь тень матери на допросы с пристрастием. И даже сейчас, когда я взываю к твоему здравомыслию, укоряешь её в жестокосердии.

— Ложь!

— Но ты пьёшь глотками, как целебный отвар, горе ребёнка, которого били скакалкой, шнуром от утюга и даже бухгалтерской отчётностью... Бедняжка, ты стал экспертом по части боли к десяти годам... И, знаешь, те семь шкур, которые с меня снимала тётка, цветочки по сравнению с тем, как тебя разделявали под орех...

— Не льсти мне...

— И не думал. Просто вспомнил, как ты хвастался своими талантами...

— Талантами?

— Ну да! Особенно умением, крепко сощурившись, отличать арию дамского ремешка, пропитанного потом, от речитатива увесистых кулаков соседа... Кажется, бездельник захаживал к разведёнке на огонёк? Уж не твой ли папаша?

— Замолчи! Слышишь ты, не человек! — я вскочил на кровати от сильного сердцебиения. Было тихо. Темно. Похоже, я разговаривал сам с собой...

Совість мучила за проклятия в адрес матери, которые порой вырывались из меня, как варево из-под крышки. Я жалел мать и в полубреду, который заставил меня сумерничать остаток ночи, бросался с кулаками на её замужних сестёр. Над сестрой Валентиной те посмеивались. И, чтобы утереть нос родне, она привезла меня к своей матери в село Гавриловское, что под Рязанью. Со станции Валентина несла подарки, купленные в Москве, а я тащился со скрипочкой, — мать анонсировала концерт Ридинга, которым мне предстояло заткнуть за пояс двоюродных братьев и сестёр. Увидев десятилетнего внука, бабушка Анна всплеснула руками, мол, пострел, как две капли воды похож на деда, героически погибшего под Ржевом. Кто только не вращал вправо-влево мою остриженную голову, ища черты Кузина Степана Евстафьевича, отца десятерых детей, слывшего мужиком «хитрым» за лукавый прищур светло-серых глаз и умение прятать от колхозного начальства крохи по лесным заимкам. Вспомнив мужа, бабушка Анна утёрла кончиком платка слёзы и рассказала, как, схоронив, умершего от скарлатины пятилетнего сына Ванечку, который был красивым и смышлёным не по годам, дед так извёлся, исстрадался, что, забросив хозяйство, отправился «шатуном» в глухой Сасовский лес. Две недели он выплакивал горе, а вернулся заросший и ободранный, когда священник соседнего села уже назначил день отпевания. А тут Война. Забрали кормильца. В одну руку вещмешок с самосадам, в другую — сапоги, что берег на выход, а через плечо — скрутку... Весь вечер мы горевали о покойниках, а утром, проснувшись от запаха блинов, которые ещё до зари напекла бабушка, потягиваясь, я вышел на крыльцо. Мать вскапывала огород. А когда петух-задира взлетел ей на плечо и клюнул в темя, я

выдрал из поленницы чурку и угостил ею драчуна. Мне было жаль убитую птицу. А когда я подошёл с лопатой, чтобы отнести петуха в лес и похоронить с почестями, притворщик «воскрес». Я так разозлился на беглеца, что в отместку отловил и забросил на крышу избы-пятистенки всех его кур.

Слухи о битве горожанина с петухом-забиякой произвели впечатление, и вскоре я стал «своим» у деревенских мальчишек. Вечерами мы прибывали к стаду, которое пастух Егорка перегонял с выгона на водопой. Кучерявый, в ватнике поверх выпростанной из брюк рубахи, в холщовой кепке, натянутой на брови, весёлый и шумный, Егорка слыл деревенским дурачком. Я так наловчился управляться кнутовищем, которое он мне доверил, что немедленно приложился к нашему дворовому псу Шарику. Тот взвизгнул, попятился и долго ещё с укором смотрел мне в лицо. Затем я едва не утопил в речке «Иж» с коляской моего дяди Вити, участкового милиционера. Жил он с бездетной женой Анной в райцентре Сасово. Но, узнав, что приехал племянник, прикатил по ухабам на мотоцикле, чтобы научить меня смахивать из двустволки «куропатов», — так он называл водочные бутылки, насаженные на жерди. Зачехлая ружьё, он вдруг всплакнул об отце, моём деде, возвращавшимся с полевых работ с нетронутым обедом, который ему оврагами доставлял дядя Витя, будучи подростком. Со слов деда, молоко и хлеб ему из леса принесла лисичка, чтобы передал детворе. Я тоже принялся подвывать, умилённый щедростью деда, и тогда милиционер, забыв, что я едва не утопил его служебный «ИЖ», вновь доверил мне управлять мотоциклом.

Казалось, счастью не будет конца. Но наступил дождливый август. И накануне отъезда во Львов я расчехлил скрипочку-четвертинку, чтобы «дать» концерт Ридинга. Все деревенские старухи утирали слёзы кончиками платков и совали в карманы моих шорт свои похоронные червонцы. А затем, отужинав, бабушка Анна с маминими сёстрами и их мужьями проводили нас до станции с трёхлитровой банкой лугового мёда и куском розового сала, завёрнутого в газету. Тех счастливых дней, проведённых в славном Граде Китеже, мне хватило, чтобы понять: сиротство моё устроил германец, умыкнувший у матери отца, а у меня — деда Степана. Болезнь, уложившая меня в постель, извлекла из памяти эти воспоминания, которыми, как я понял позже, и мать, и я оправдывали свою нерасторопную любовь.

К утру я пришёл в сознание. Но ещё неделю глотал горстями таблетки, пил бульон и дышал отварным картофелем, чтобы разжижить мокроту в лёгких. Выздоровев, я вернулся к прежним привычкам: строил песчаные замки одной рукой и разрушал — другой. Мазох не являлся. И я пришёл к мысли, что все дети ангелы. Повзрослев, они становятся «ужасными родителями», чьи сыновья не упустят случая попить крови у матери своих детей. Я хотел высказаться. Искал ребёнка, который способен вогнать в ступор взрослых, и остановился на сыне таможенника из Линца.

(Целиком повесть «Люцифераида» можно прочесть на странице автора: в Yandex <https://clck.ru/33fsEY> в Google <https://clck.ru/33cYXg>

ТРИНОКУЛЯР

Фрагменты трактата

леммы/глоссы

1. Мир — сцепление кадров.

1.1 Кадр — элементарное предложение.

1.12 Сумма кадров — сцена, сумма сцен — эпизод, сумма эпизодов — фильм.

1.13 Фильм — показывают. Способ — сеанс. Сеанс — всё, что «дано» и «взято».

1.4 Мир перекошен: само-данность нетождественна само-взятию.

1.15 Там, где смотрят сквозь линзу со сколами, взгляд ущербен. Когда турель для съёмных объективов демонтирована, и глаз ограничен одной линзой, условия истинности предложений не складываются, а оптика (категории) искажена аберрациями.

1.16 Аберрации искажают действительное положение дел.

1.2 Положение дел таково: мир триедин.

Спросят: о каком триединстве речь? О триединстве бытия-ума-небытия. Разве, удивятся, предложения метафизики не ушли в прошлое, а логическое прояснение понятий не стало делом научной философии, отныне озабоченной уяснением пропозиций? Соглашаясь с логикой демонтажа мышления, живущего универсалиями, я предлагаю ещё одну, которая, как и все химеры, обещает указать на истину в последней инстанции. Я дал универсалии имя тринокуляр. Этот рецидив метафизики не элиминировать из логического пространства по причине парадигматической инфляции, которая обескровила философствование. Иссушил науку конвенционализм, точнее вера в то, что мир — монокуляр, что внешнее законосообразно, а внутреннее акцидентально, поставил крест на познании, опирающемся на самосхватывание вещей и идей. Но есть путь триединства, разваливающего себя, что есть мышление, и собирающего себя, что есть полагание.

1.111 Вещь слепоглуха. Познание требует прикосновений: тактильно-кинестезивного ума к существованию вещи, вещи — к существованию ума.

1.112 Мир не уясняем, но осязаем щупальце-мыслью.

И в самом деле, если и существует ничто, что наличествует, когда отсутствует, то это тактильно-кинестезивный-ум. Этот «орган мысли», однако, нельзя локализовать. И всё, чем он обзавёлся, что позванивает в его карманах «талерами» Канта, есть активные и пассивные предпосылки мышления. К [пассивным] относится всё, что обуславливает ментальные события: топография, топология, хронотоп, в которых, петляя, обретается субъект, и даже — ландшафт за-ничтожности, даже география небытия, чья связь с инобытием едва различима как тонкий, нитевидный пульс у смертельно больного. К [активным] относится бытие/небытие, т.е. «моя» и «чужая» мысль, живу-

щие в тринокуляре, где соглядатайствующие деятели (Н. Лосский) обретают субъектность в единстве всех своих моментов (если речь идёт о времени) и совокупности существенных свойств (если речь идёт о живом и плодотворном синтезе).

1.262 Философ — тот, кто устанавливает «фокусное расстояние» до предмета.

Вспоминается новелла Томаса Манна «Марио и волшебник». Замечу, что и в съёмочной группе есть человек, которого называют «фокусником». Фокусник — ассистент оператора, измеряющий стальной рулеткой расстояние от объекта съёмки (детали интерьера, лица актёра) до линзы кинокамеры. Его задача — определить «фокусное расстояние», т. е. область резкого изображения, где предмет узнаваем, а контуры его очерчены чётко и резко. Всё, что «вне фокуса», неразлично и лишено форм. Там, где объект в фокусе, мир логически ясен, а умопостигающий и умопостигаемое образуют тождество. Область резкого изображения я называю рабочей плоскостью. Здесь истина не прячется за патину, за недомолвками.

Область резкого изображения стиснута хаосом, окаймлена зоной нерезкого изображения. К какому же локусу сознания отнести фокусника? К той деятельной функции, которая отвечает за бросок гайки Сталкера в — непредзаданное, за хватательное движение ума, за его работу с трансценденталиями, за его трансцендентальные способности.

Фокусник — не кондотьер и не конкистадор. И мир, видя незлобивость фокусника, впускает его в себя. Таким образом, и фокус, и то, что в фокусе, пребывают в существе друг друга не как раб и господин, тычущий в невольника стимулом, призывающий клиента к уплате долга, а как равноправные граждане полиса, владеющие частным хозяйством: «ойкосом» (домом). Фокусник измеряет область уяснённого и намечает маршрут к не-доуяснённому.

2. Мыслю, следовательно, мёртв (*Cogito, ergo sum mortuus*).

Глуп тот, кто полагает, что мысль притворно умирает, как куропатка перед лисой, а на самом деле кукует в головах. Увы! Не ищите мысль ни в бытии, ни в ничто. Мысль не надёжный запал, умы она находит сырыми, долго тлеющими и не поддерживающими горение; и всё же, вспыхнув, точно спичка, мысль зажигает сердца, чтобы отапливать Космос еретиками. Мысль не может быть ни трагичной, ни комичной, ни индифферентной. Она то, чем мы её делаем. Она инструмент, который калибруют. Она не укладывается в реестр. Её не вписать в перечень, не вынуть из ящичка, куда мы, как кажется, положили её вчера. Мысль не даётся в руки, она порхает, меняет кожу, регенерирует. Она не мужчина и не женщина. Глупо повелевать мыслью, равно как и вызывать к её милости. Мысль — чудовище. Мысль — красавица. Но попросите ветреницу дважды сыграть роль, как актриса забудет текст, не явится на репетицию или закрутит интрижку с режиссёром. Не стоит обольщаться, заводя с ней роман. И уж если вы оказались столь глупы, что привели мысль под венец, смело выуживайте любовников из-под кровати. И

не дай вам Бог сунуть нос в её шкафы — там скелеты!

2.1 Мысль бессубстратна, бессубстантивна, беспредпосылочна.

2.2 Мысль — вещь, глаза которой обращены внутрь.

2.3 Мысль — притворно-сущее, кромка между бытием и ничто.

2.4 Верно, что существование протекает в двух локусах: 1) когда я мыслю в чужом уме; 2) когда во мне и мной мыслит посторонний.

Этой леммой я указываю жестом Кратила на аргумент № 2 трактата: «мыслю, следовательно, мёртв (*Cogito, ergo sum mortuus*)». Хотя, могут и возразить: мёртвые не мыслят, и уж тем более не кукуют в чужих головах. Прежде, чем внять доводам рассудка, посмотрим, как дилемму решает архаическое сознание. Так в греческих мифах герои не только мыслят о смерти, но и живут в ней. Вспомним Тиресия. Ввязавшись в тяжбу Зевса и Геры, — олимпийцы пожелали выяснить: кто в большем выигрыше от любовных утех: муж или жена, — Тиресий провёл научный эксперимент, побывав в теле девы, которую берут приступом. Со слов Гесиода, Тиресий навлёк гнев богини тем, что выставил женщин распутными ведь, согласно его бухгалтерии, если исчислять наслаждение десятью долями, то мужчина получает одну, а женщина — девять... Гера ослепила сына пастуха Евера и нимфы Харикло. Но, желая соблюсти меру, Зевс не стал возвращать зрение смертному, и сделал его прорицателем. Узнав в толпе теней Одиссея, живым спустившегося в Аид, Тиресий предсказывает герою его будущее. Мёртвые многоглаголят... Но, произнеся: «мыслю, следовательно, мёртв», я вовсе не имел ввиду смерть телесную, как, впрочем, и Декарт, говоря: «мыслю, следовательно, существую (*Cogito ergo sum*)», не увязывал мысль и бытие. Прежде, чем дать латинскую формулу, Картезий написал свой афоризм по-французски: «Я мыслю, следовательно, я есмь (*Je pense, donc je suis*)». Декарт подверг сомнению всё, кроме самого сомнения. Сомнение — несомненно.

Но, ступив на стезю методологического скептицизма, абсолютизируя сомнение, Декарт впал в волюнтаризм. И, уж если бросать камушки в огород Картезия, то следует усомниться в самом его методе, следует подвергнуть ревизии дуализм, усомниться в том, что сомнение принадлежит скептику. Прежде всего, я раскладываю сомнение по «чужим» карманам, чем лишаю скептицизм опоры на субъектность. Сомнение — плод «свального греха». И как я выделяю «койко-места» чужакам, так и посторонние впускают на постой мою неприкаянность. Субъект существует в мысли и посредством мысли. Но мысль не существует в субъекте и посредством последнего. Мысль самочинна, и если прибегает к услугам субъекта/субстрата, то остаётся субстантивно нейтральной — не супервентной ни на физическое, ни на органическое, ни на социальное, ни на искусственный интеллект. Но как, спросят, то, что не существует, обуславливает существующее? Ведь, если допустить, что субъект не мыслит, т.е. не пребывает в существе мысли доподлинно в силу её субстантивной неопределённости, если мысль притворно-сущее, то не фиктивен ли и сам ум? Разве онтологический статус ума не сомнителен? И не стоит ли, в связи со сказанным, вместо «*Cogito...*» заявить: «*Vivo ego in extraneus caput* (Я живу в чужой голове)»?

Здесь я выдвигаю три леммы: 1) верно, что Я — «не-Я», поскольку человек может быть только поли-субстратным-поли-субъектом или поли-субъектным-поли-субстратом; 2) не верно, что мыслить и быть одно, поскольку то, что не обладает субстанцией и субстратом, не может существовать: ни как сущее, ни как не-сущее, ни как обоюдное; следовательно, мысль — притворно-сущее или Ничто́; 3) не верно, что если мысль не существует, то существует тот, кто её помыслил. Нельзя помыслить непредставимое/невыразимое, как, впрочем, нельзя и мыслить посредством того, что небытийствует. Отсюда, если нет мысли, то нет и мыслителя. И если прав Декарт, когда говорит: «Мыслю, следовательно, существую (Cogito ergo sum)», то в той же степени, в какой это справедливо, верно и противоположное: «Мыслю, следовательно, мёртв (Cogito, ergo sum mortuus)».

4.574 «Инкогерентный»: ученику следует зубрить урок, мастеру — давать.

В работе «Что есть метафизика» Хайдеггер как мантру повторяет не менее ста раз: «Почему есть сущее, а не наоборот, Ничто?» Хождение кругами с кажждением благовоний, взятых напрокат из храма Артемиды, — род герменевтического круга, где вопрошание, ответственание и бытие при вопросе — одно суть. Хайдеггер использует Ничто́ инструментально и отвергает притязания не-сущего на само-полагание и само-рефлексию. Помня основополагающий принцип Парменида, сказавшего: «...τὸ ὄν αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι ...мыслить и быть — не одно ли и то же?», а в другом месте: «одна и та же вещь и для мышления, и для существования» (Парменид, 288, DK I, 217—246), и слова Платона: «...когда мы говорим о небытии, мы разумеем... не что-то противоположное бытию, но лишь иное» (Платон, 257b), Хайдеггер отдаёт предпочтение Аристотелю, — его запрету на мысли/суждения о не-сущем.

С изучения Аристотеля начинается долгий путь продумывания истины бытия. В 1922 г., будучи доцентом, Хайдеггер читает курс лекций «Феноменологические интерпретации Аристотеля: онтология и логика», а в 1924 г. — «Основные понятия аристотелевской философии». Наконец в 1920-х — 1930-х гг. ведёт семинары по трактатам «О душе», «Метафизика», «Риторика» и «Физика». В Аристотеле Хайдеггер видит естествоиспытателя, который, наблюдая, вывел из эмпирических данных понятие сущность «усия» (ousia), при этом очистил его от каких-либо состояний (pathē) или случайных качеств (symbebēkota). Результатом домашней работы над наследием Стагерита стал трактат «О существе и понятии. Аристотель «Физика» β-1.»

То, что Аристотель называет «существующим от природы (τὰ φύσει συνεστῶτα)», Хайдеггер понимает как устойчивое при-сутствие. В каждой фразе Хайдеггера, в каждом его славословии бытию слышится Стагирит, говоривший: «не-сущее не есть ни предмет, ни качество, ни количество, ни место» (De gen.et corr., 318a15). Известно, что Аристотель относил «не-сущее (τὸ μὴ ὄν)» к роду софистических уловок, поскольку то, чего нет, не было и не будет, нельзя выразить ни в одной из категорий. И в самом деле, у Ничто́ нет сущности, количества, качества, отношения, места, времени, положения, об-

ладания, действия, страдания. Разве о том, кого нет, можно с уверенностью сказать: он судебный оратор; высотой в семь локтей; умеет льстить, при этом куда глупее Каллистрата и Демосфена; живёт в Афинах; вчера прохладился в бане, где возлежал перед бассейном; сжимал в кулаке драхму; поедая финики; в то время как атлеты разминали его дряблые мышцы, а рабыни умащивали кожу благовониями... Услышав всё это о себе, буян, пожалуй, задаст трёпку философу. И даже если жертва вздумает осудить драчуна, как притащить на Агору (ἀγορά) эфемерное — то, что не запечатлеть сетчаткой глаза, не повертеть в цепких пальцах, не положить на зуб, не вдохнуть полной грудью и даже не услышать, как, растолкав стражу, «наглец» сверкает пятками?

Как и Аристотель, Хайдеггер убеждён, что побасёнки о Ничто приличествуют софистам, знающим толк в «незаконнорождённых умозаключениях» (Платон). По Аристотелю софисты исследуют «привходящее (τὸ συμβεβηκός)», случайное, несамостоятельно сущее — то, что может выйти на свет из тёмного закутка, а может и не выходить (Met., 1064b35), а ещё эти платные учителя красноречия выдают «кажущееся» за действительное, в то время как цель познания — достоверное. Не-сущее — не подлинное знание, отсюда «неверно полагать, что оно нечто сущее, ибо мнение о небытии присутствует не потому, что оно есть, а потому, что его нет» (De int., 21a30). По этой причине понятие о не-сущем, равно, как и науки о том, чего нет, не следует быть (Met., 1064b30). Как и Аристотель, Хайдеггер терпит небытие лишь в головах у софистов, откуда Ничто нельзя и носа казать. Софисты «основательно толкуют о призрачном и не-сущем: привходящем, существующем, но лишь притворно» (Met., 1004b20-25).

Как и Аристотель, Хайдеггер допускает Ничто в обыденной речи, где всё привходяще и случайно. По Аристотелю не-сущее есть ложь, кривда, заблуждение: τὸ δὲ ὡς ἀληθὲς ὄν, καὶ μὴ ὄν ὡς ψεῦδος, ἐπειδὴ παρὰ σύνθεσιν ἔστι καὶ διαίρεσιν (Met., 1027b15-20), но и предел, позволяющий одному сущему бытийствовать, другому — ничтожиться. Отсюда, настаивая на небытии одного, мы предоставляем бытие другому. Не-сущее есть привходящее (Met., 1026b13), т.е. то, что обретается в имени, которое прежде вещи, которое сторожит вхождение пред-сущего в бытие, являясь глашатаем того, что на подходе, что вот-вот явится, проклюнется из потенции (Ibid., 1026b15).

Ничто — предмет логики (разумеется, Аристотелевской), но лишь как непротиворечивое высказывание, в силу которого «выражение “быть” или выражение “не быть” представляются чем-то определённым, поэтому, не может что-либо [одномоментно] обстоять таким и другим образом» (Met., 1006a30).

А, уподобившись Пармениду, и Аристотель, и Хайдеггер выдвигают запрет мыслить не-сущее и сущее одновременно, в одной и той же парадигме; не-сущее — мысль/мышление, спотыкающееся, когда оно ложно, и поднимающееся с колен, когда — истинно, а вовсе не мир, простирающийся за пределами ума: τὸ δὲ ὡς ἀληθὲς ὄν, καὶ μὴ ὄν ὡς ψεῦδος, ἐπειδὴ παρὰ σύνθεσιν ἔστι καὶ διαίρεσιν (Met., 1027b15—20). Но Аристотель не удовлетворяется лишь вопросами познания. Его небытие — и «сущее в

потенции», т.е. то, что возможно (ὄν δυνατόν), что может бытийствовать определённым образом, как имевшее место сущее (Met., 1067b25). Наконец, не-сущее Стагирита — есть инобытие, то, что утратило субстанцию, энтелехию и претерпевает метаморфозы, в результате чего, то, что «трансформировалось, не совпадает с тем, во что трансформировалось» (De gen.et corr...318b1-10).

Запретив философии совать нос в Ничто́, и Аристотель, и Хайдеггер предоставили логике *carte blanche*, чтобы отвести небытию скромную роль инструмента различения — истинного от ложного, сущего от не-сущего.

Хайдеггер видит в Ничто́ инструмент отыскания «бытия-в-мире» в модусах подлинного/неподлинного существования, т.е. — технический навык, калибрующий ум, но не само Ничто́, не суверенное, подвергающее себя негации небытие, не то, что ничтожит себя-в-себе-и-для-себя, ничтожит так, как ему заблагорассудится, и без того, чтобы противопоставлять себя бытию. А, проявив онтологическую тугоухость, — что касается красноречивого лепета истины бытия, то тут слух Хайдеггера безупречен и чуток, — философ отказал не-сущему: а. в говорении; б. в мышлении; с. в полагании.

Хайдеггер свёл операции с Ничто́ к инструментальному и спекулятивному подходу. Негация понадобилась ему как регион сущего, бытийствующего посредством ничтожения себя, в-себе и для-себя, т.е. как различение, находящееся в услужении у «бытия-вот». Так, чтобы просвет истины бытия вспорол мрак лжи, кривда должна проследовать в гримёрку, в костюмерку и уж потом, нахлобучив накладной горб, появиться на заднике декорации с ужимками горбуны из кордебалета. Истине следует предпосылать ложь, подлинному — неподлинное. И, применяя контрасты, Хайдеггер фундаирует бытие посредством Ничто́.

4.575 «Инкогерентный»: по субботам мастера надираются, подмастерья увиваются за юбками, а ученики обивают пороги фототелье.

Вспоминается фотография, на которой всё ещё бодрый старик Хайдеггер хитро улыбается, сощулив правый глаз и вскинув кверху указующий перст. Возможно, Хайдеггер намекает на «око Гора», которому Сет выбил левый (лунный) соколиный глаз, после чего правый, символизирующий Солнце, стал видеть мир плоским. Не так ли случилось и с Хайдеггером: сощулив глаз, философ ограничил обзор. И снимок помогает понять изъян онтологии, основанной на монокуляризме. Об онтологической близорукости Хайдеггера и пойдёт речь.

Чтобы сделать экспликацию наглядной, использую оптические термины в качестве метафор/метонимий. Итак, объёмный взгляд на вещь, предмет зависит от бинокулярного зрения (от лат. *binus* — «два» и лат. *oculus* — «глаз»). В результате фюзии (лат. *fusio* — слияние) зрительные образы, возникающие в каждом глазу по отдельности, сливаются в один образ. Речь о стереоскопическом эффекте. Но именно такой иллюзии объёма недостаёт онтологии Хайдеггера. Через экзистенциалы, предвосхищающие категории, а именно: **In-der-Welt-sein** (бытие-в-мире), **In-sein** (бытие-в), **Mit-sein**

(бытие-с), **Sorge** (забота), **Geworfenheit** (заброшенность), **Befindlichkeit** (находимость), **Furcht** (страх), **Verstehen** (понимание) и **Rede** (речь) философ абсолютизирует опыт проживания **Dasein**. Но сиюбытность Хайдеггера ограничена одним вектором: субъект вопрошает, бытие отвечает. Согласиться с этим никак нельзя. Скорее уж Бытие, Ничто и Ум/Нус вопрошают и отвечают обоюдно. Речь о роде тринокулярной экзистенции, когда **Dasein 1** (субъект), **Dasein 2** (бытие) и **Dasein 3** (ничто) испытывают взаимную приязнь. Здесь полископия (греч., от *polys* — многий, и *skopeo* — смотрю) — залог полисемии. То, что образуется на сетчатке внутреннего ОКА в процессе складывания изображений, построенных монокулярными «линзами» бытия, ума и небытия, я называю со-глядатайством, складчиной **Dasein 1,2,3**. Только в полископии/полисемии зрение/знание исполнено исчерпывающего величия — догадывается подмастерье Хайдеггер, но не решается возразить мастеру, цеху, гильдии.

А-ТИПИЧНАЯ АНГЕЛОЛОГИЯ: TRAVELLING СЕРАФИМА/ZOOM САТАНЫ

Фрагменты трактата

леммы/глоссы

1.5 Бога нельзя уложить на прокрустово ложе опыта, теории или интуитивного познания. Бог — ноумен без феноменов. И тот, кто уверовал в Промыслителя, стал аргументом в Его пользу. Часто — единственным.

1.81 Чтобы спасти грешника, Бог ставит на кон Свои ипостаси, энергии, имена.

А встретив упорство твари, погрязшей в грехе, Бог обрушивается внутрь Себя, не желая часами спускаться по винтовой лестнице с площадками для тех, кто страдает одышкой. Но покладистость возвращает Его в хорошее расположение духа. А, отпустив тварь на вольные хлеба, Бог намеренно урезонивает всевластие и всезнание. Но самоумаление не роняет Его в собственных глазах. Напротив, Господь возвышает Себя абсолютно, поскольку тот, кто устанавливает предел собственному всевластию, всемогущ втройне. Бог с лёгкостью перескакивает ступени познания, полагания и даже лихо съезжает по перилам. А будучи априори трансцендентальным объектом (нем. *das transzendente Objekt*), Бог превращает Свои трансцендентальные способности в трансцендентальный предмет (нем. *der transzendente Gegenstand*), т. е. подвергает критике Собственный практический разум, Собственный чистый разум и Собственную способность суждения.

1.9 Бог отбрасывает способности как предел, препятствующий априоризму. Бог полагает Себя вне демаркаций. Бог индифферентен к пределам.

1.141 Познание Абсолюта сводится к пересчёту ссадин и гема-

том, вызванных «встречей» с a priori. Бог не познаваем. Бог осязаем.

1.143 Натыкаясь на Бога в-себе, ум исследует не божество, а свои «ожоги» о пепел бивака, разбитого Творцом. Бог вычленяется из преображённой чувственности, но не как пропозиция, а как presupпозиция, т. е. как смысл, который топчется за дверью ума, но не решается войти.

1.17 Верно, что теозис (обожение) есть восхождение твари к Творцу и нисхождение Творца к твари, причём Человек и Бог встречаются в точке невозврата от семи смертных грехов к семи словам с креста.

2.4 Используя свето-тьнь (англ. Clear-obscure), Бог извлекает мир из Ничто. Таково положение вещей (Sachverhalten).

2.5 Кино отражает и то, что не видит кино-глаз, но что отбрасывает в кадр «тьнь» своего присутствия, — неочевидное: то, что, будучи ноуменальным, не стало феноменальным.

2.6 Истина — то, что в фокусе (англ. in focus); заблуждение, кривда — то, что в тумане (итал. Sfumato).

3.215 Вступая в молитву, верный не знает, чего просит. И благодаря нестяжательству, вверению себя воле Господней, молитва сама изымает из тебя то, с чем ты пришёл.

Молитва — лестница, по которой Бог нисходит, а человек восходит. Прерванный грехом Богоначальный луч восстанавливается в молитве и образует непрерывное истечение, в результате чего и совершается апокатастасис (др.-греч. ἀπο-κατάστασις — «восстановление») и перихоресис (др.-греч. περιχώρησις — «взаимопроникновение») Бога и Человека, их взаимный экстазис (от греч. ἔκστασις) — исступление, выведение Божественным действием разумной твари за пределы тварного.

3.216 Молитва — «брак» с Богом, но не морганатический, а любви, «соитие», которое совершается во мраке, но соитие духовное, где мрак не «альков», а местопребывание Господне.

И в самом деле, «Облако и мрак окрест Его...» (Псалом 96:2); а в другом месте: «И стоял народ вдали; а Моисей вступил во мрак, где Бог» (Исх. 20:21). Но прежде, чем сделать шаг в крошечную тьму, и Бог, и молящийся растождествляются, лишают себя идентичности, различия. Для этого следует оставить за рамкой металлоискателя всё: и сущность, и ипостаси, и природы, и имена. Освободившись от опосредующих их пут, человек и Бог соединяются в молитве субстантивно. Здесь и совершается синтез тварного и нетварного. Это ещё не теозис (обожение), но горячая вера, лишаящая обоих опор на внутреннее основание, на авторитет и власть, приносит свои первые плоды.

3.217 И человеку, и Богу, вступившим в молитвословие, дано побывать в теле «постороннего»: человеку — в нетварном (theosis), Богу — в тварном (incarnation).

И в самом деле, метаморфозы эти совершают не тварь и Творец, а молитва, ставшая на какое-то время субъектом их субстантивного единства.

3.218 В молитве и Бог и человек обмениваются нательными крестиками, — Господь возлагает на свои плечи «удел человеческий», человек — «удел Иисусов».

Выстояв литургию молитвы, её незримые часы, Бог и человек забирают обратно то, что добровольно и по любви оставили у порога «Мрака». Но забирают существенное. Отбив поклоны, богомольцы возвращаются в-себя, открыённые молитвой и омытые светом истины. Человек и Бог восстанавливаются в природах, ипостасях, энергиях (др.-греч. ἀπο-κατάστασις — «восстановление»), но восстанавливаются по-иному, с учётом опыта «бытия-во-мраке-Господнем». Мрак не следует путать с бытием, ничто, обоюдным. Мрак — свет, запёртый в-себе. Мрак можно сравнить с чёрной дырой в космологии, из гравитационного плена которой не вырваться ни частице, ни волне.

Молитва не ходатайство, не жалоба, не иск, что с неизбежностью одного превратило бы в прокурора, другого — в подозреваемого, подследственного, подсудимого, осуждённого. Молитва не сделка, делающая одного патроном, другого — клиентом. Цель молитвы — прояснение и умиротворение.

3.219 Молящийся не требует: da mihi ultimum shirt (лат. Отдай последнюю рубашу), а предлагает: tolle omnia habeo (лат. Возьми всё, что у меня имеется).

Но как возможно, что, сдав на склад всё существенное, разукomплектовав себя, Бог и человек всё ещё держатся на плаву? Что служит залогом цельности, целостности, гимена Бога и человека, которые, не обладая субстратами, субъектами, предикатами, лишились и существенного своей сущности — природ. Самое время поговорить о Благодати Божьей или энергии, которая есть то единственное, что Творец оставляет за собой, ведь энергия не только питает молитву, но и подкрепляет молящихся.

Живя аристотелевскими представлениями об энергии (ἐνεργεια) и энтелехии (ἐντελεχεια), Василий Великий к свойствам Бога, которые познаваемы в отличие от Его сущности, причислял ἐνεργεια — действия Бога, проявление этих действий или энергий⁹.

Такова доктрина исихазма. Не желая вступать в полемику с ошибочным (на мой взгляд) учением Григория Паламы о множественности энергий и познании Бога не по сущности, а по Его энергиям, я всё же не могу не сказать, что энергия и сущность суть одно, и не поддаются различению. Бог непознаваем ни в качестве буквы, ни в качестве сущности, субстанции, ипостаси, природы или энергии. Но есть аспект, который нельзя объяснить иначе, как чудом бого-данности/бого-взятия. Это чудо — МОЛИТВА.

3.220 В молитве человек не познаёт Бога, не уподобляется Ему по образу и подобию, а становится Им. Обожение (теозис) — точка встречи человеческого и божественного на Лестнице Иакова.

Здесь происходит не познание, а опознание Господа в-себе. Здесь Творец не приглашается как варяг на трон, а обнаруживается в существе человека, открывается им в-себе как Его априори, но прежде человек должен потесниться в-себе, выделить Богу всё, а себе — закуток. Но причастность здесь не реальная, а номинальная, поскольку все природы и ипостаси свои Бог оставил за пределами молитвы, чтобы не смущать верного. Но и Бог очеловечивается в молитве, познаёт себя в ипостаси человека, как когда-то Бог-Иисус познал себя в ипостаси Человека-Иисуса.

Молитва фундирует обоих. В молитве, став на фундамент «постороннего», каждый отстраивает свою идентичность заново. Восстановление учитывает событие «встречи». А, достигнув высшей точки молитвы, душа упирается умными очами в СВЕТ Невечерний. Какова же структура молитвословия как в-вечности-бытийствующего-ничтожащегося-человеко-бога?

Тело молитвы живоначально, т. е. знает зачатие, вынашивание и изгнание плода. Геном молитвы, при всём своеобразии моментов, продуцирует и репродуцирует один и тот же сюжет. Каковы же его перипетии?

1. Растожествление, которое есть:

а) non est hypostasis (лат. безипостасность), когда у порога «Мрака» Бог оставляет три Лица Троицкого Бога: своё Отцовство, Сыновство и Святой Дух, что неоплатоники называли Благом, Умом и Душой, а латиняне — *substantia*; а человек кладёт у двери молитвы: субъект; *persona*; личность; при условии, однако, что душа неприкосновенна, что на время молитвы её питают Божественные энергии, и если она и может быть изъята, то не иначе как при особых обстоятельствах — смерти во время молитвы;

б) namelessness (лат. безымянность), когда Бог оставляет у порога Имена. При этом готовность к анонимности выдаёт в Творце высокий моральный дух, бесстрашие перед опасностью и стремление покинуть «крепость», где бы — случись что — он мог отсидеться. «Имя Господа — крепкая башня: убегает в неё праведник — и безопасен» (Книга Притч Соломона. 18:11). Но Бог выходит за ворота донжона, который есть Имя Господне. Бог выше имени. Бог не нуждается в именах.

Вспомним удивительную сцену богоборчества Иакова с Богом. «(24) И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; (25) и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. (26) И сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. (27) И сказал: как имя твоё? Он сказал: Иаков. (28) И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. (29) Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твоё. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там» (Бытие гл. 32, с. 24-29).

Но видя, что человеку хочется знать имена Господни, Бог, скрепя сердце, произносит то, что, скорее всего, человек хотел бы услышать.

«Я есмь Сущий» (Исх. 3:14). Но абстракции и философемы режут слух, мутят рассудки, и Бог переходит на имена собственные: «Ягве (Иегова)» (Быт. 2:2, Исх. 34:6), а в Новом завете: Иисус Назорей (Мк. 10:47, Деян. 2:22),

который, очевидно, вспомнил любовь Отца к любомудрию, отрекомендовался так: «Я есть Путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14:6).

Но и человек, прежде чем скрестить руки на груди, вскинуть троеперстие для совершения крестного знамения, упасть, чтобы бить поклоны, оставляет своё имя у двери «Мрака».

2. Смерть ветхого и рождение нового человека (лат. *mortem veteris et partum a novus homo*), когда в молитве совлекаются с души одежды ветхие, бросаются как плевелы в огонь, а новую душу, обрезав пуповину (лат. *funiculus umbilicalis*) и послед (лат. *placenta*), Господь умащивает бальзамом Любви и Благодати, чтобы залечить раны и облегчить боль.

3. Новый синтез, когда всё, что оставлено у дверей молитвы, идентичность, от которой отказались (лат. *rejectio priore identitatem*), претерпевает метаморфоз и новый синтез (лат. *novum synthesis*).

Предположу, что у молитвословия есть своё сердце, глаза, позволяющие видеть молящегося насквозь. В молитве мир созерцается «умными глазами», и оптика этого соглядатайства не монокулярная, как в телескопе или в микроскопе, не бинокулярная, как в обоих глазах человека, а тринокулярная, т. е. образуется суммой всех точек зрения, всех линз и диоптрий. Только в таком соглядатайстве Бога, человека и молитвы Господней мир предстаёт тем, что он суть, т. е. очищенным от искажений, дифракций и аберраций. Как тут не вспомнить слова апостола Павла из его Первого послания к коринфянам: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13:12)

Таким образом, ангелы, сопровождающие лучиком света заблудившихся в темноте, рассаживают публику по стратам, к которым принадлежат их выпестованные или не-выпестованные умы и сердца. С этих мест они созерцают/усматривают феномены.

Молитва — бытие в свете, доставляющем душу в горний чертог. Выходя из зала, когда ещё ползут титры на экране, публика всё ещё связана пуповиной с фильмом. И только спустя время зрители догадываются, что присутствовали на священнодействии. И в самом деле, молитва — то светозарное, светокровное, что светославит и светотворит. Молитва сонмищнокрыла.

Но не стоит впадать в прекраснодушие. В молитве присутствует и мир. Как неразумная, бессловесная тварь, он не может просить за себя и стоит в сторонке, во мраке, как молчаливый укор. Мир ждёт. Он хочет услышать наше ходатайство о нём.

Целиком трактаты «Тринокуляр» и «А—типичная англология: travelling ce-рафима/зоот сатаны» можно прочесть на странице автора: в Yandex <https://clck.ru/33fsEY> в Google <https://clck.ru/33cYXg>

ИЕРОДЬЯКОН НАФАНАИЛ

(проф. Б. Г. БОБЫЛЕВ)

БЛАГОДАТНАЯ БЛАГИНИНА

Мама спит, она устала...
Ну и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу.

Эти и другие строки Елены Благиной знакомы нам с детства. Сколько в них заботы, ласки, любви к родителям, к родным и близким людям!

...Папа, ты вернёшься невредимый!
Ведь война когда-нибудь пройдёт?
Миленький, голубчик мой родимый,
Знаешь, вправду скоро Новый год...;

...Если внуки веселы, —
Бабушка давно:
— Ишь, распелись, как щеглы,
До чего же славно!

Наш дедушка не любит тени.
Он любит солнышко, тепло.
Дрожат у старого колени,
Ходить бедняге тяжело.
Он ничего почти не видит,
Не слышит ничего — глухой...
Его и курица обидит.
Наш дедушка совсем плохой!¹...
Но без него мы жить не можем,
Он нам как будто бы родной...

Стихи Елены Благиной связаны глубокими корнями с благодатной народной педагогической традицией, сформировавшейся под непосредственным духовным и нравственным влиянием Церкви. «Чти отца твоего

1 В данном случае поэтесса прибегает к характерному для просторечного и диалектного словоупотребления использованию слова «плохой» в значении «больной», «нездоровый»

и мать твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли». Эта заповедь, пятая по числу, сразу следует за первыми четырьмя заповедями Декалога, в которых идет речь о любви к Богу, в то же время с нее начинаются заповеди о любви к ближним, людям. Пятая заповедь говорит о святости любви к родителям и, шире, — к родным, близким, к Отчизне — земной и небесной. Любовь эта является источником всех благ для человека, с ней связано счастье жизни его — на земле и в Вечности.

В годы господства атеизма, тотальной идеологизированности школьных программ произведения Благиной, пронизанные светом добра, милосердия, человеколюбия, читали, изучали, заучивали наизусть в детских садах и начальных классах. Ее стихи, наряду с русской классикой, несли детям Благую Весть, христианский взгляд на мир и окружающих людей.

Церковный историк Антон Владимирович Карташев писал, что русская литература стала всемирной благодаря своей религиозно-православной основе: «Это христианское дыхание нашей литературы на весь мир есть прямое детище тысячелетнего воспитательного воздействия русской церкви. Вслед за литературой мир увидел православное излучение и в русском художественном творчестве»¹

Христианское дыхание поэзии Благиной проявляется в особой позиции, взгляде, оценках автора, а также в следовании церковной и народной традиции в отборе и художественном освещении тем, образов, мотивов. И в этом, как уже было сказано, ее творчество переключается с творчеством русских классиков. Весьма характерными в этом отношении являются стихи, посвященные весне.

Стихотворение Благиной «Весна» представляет собой «метрическую цитату» знаменитого стихотворения Ф.И.Тютчева «Весенние воды», повторяя его по своему размеру. Оба стихотворения входят в программу начальной школы. При этом Благина намеренно подчеркивает переключку с прототипом, начиная свое стихотворение с союзного наречия «еще», приобретающего у поэтессы роль ключевого композиционного средства, с помощью которого выстраивается период, охватывающий три строфы:

Ещё в домах пылают печки
И поздно солнышко встаёт,
Ещё у нас по нашей речке
Спокойно ходят через лёд!
Ещё к сараю за дровами
Не проберёшься напрямик!
И в садике под деревьями
С метлою дремлет снеговик!
Ещё мы все тепло одеты —
В фуфайки, в ватные штаны.
А всё-таки весны приметы
Во всём, во всём уже видны!
И в том, как крыши потептели,

¹ Карташев А.В. собрание сочинений: В 2 т. Т.2: Очерки по истории русской церкви. М., 1992, с. 319.

И как у солнца на виду
 Капели, падая, запели,
 Залопотали, как в бреду!
 И вдруг дорога стала влажной,
 А валенки водой полны...
 И ветер нежный и протяжный
 Повеял с южной стороны!

А воробьи кричат друг дружке
 Про солнце, про его красу.
 И все весёлые веснушки
 Уселись на одном носу!

И у Тютчева, и у Благиной речь идет о приближении весны, ее полного торжества. Конечно, нельзя не заметить разницу речевых регистров. В прототипе преобладает высокий языковой строй. Тютчев активно использует слова церковно-славянского происхождения (брег, блещут, гласят). Единственное слово с легким разговорным оттенком появляется лишь в самом конце стихотворения («толпится»). Стихотворение же Благиной, напротив, отличает подчеркнутая бытовая «приземленность»: использование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, создающими разговорную окраску речи (печки, солнышко, речке, садике, веснушки.), а также слов, обозначающих сельские бытовые реалии: сарай, дрова, метла, фуфайки, ватные штаны, валенки и пр. Поэтесса прибегает к стилизации речи деревенских детей, но в этот поток бытовых, сниженных слов и деталей неожиданно врывается высокое — «деревя», экспрессивность которого тем выше, что оно стоит рядом с разговорным в садике.

Мы здесь сталкиваемся с эффектом «двойного зрения» и речевой полифонии: сохраняя непосредственность и свежесть взгляда и голоса ребенка, поэтесса в то же время прибегает к искусной художественной игре. Взгляд, голос автора, впервые обнаруживая себя в приподнятом поэтическом слове «деревя», в полной мере проявляется во второй части стихотворения — в летящей мелодике и звукописи в сочетании с изысканными сравнениями, метафорами, эпитетами:

И как у солнца на виду
 Капели, падая, запели,
 Залопотали, как в бреду!;
 И ветер нежный и протяжный
 Повеял с южной стороны.

Тютчевский праздничный мотив все преображающей воды возникает в конце стихотворения. При этом Благина использует наречие «вдруг», подчеркивающее резкую смену холода, темноты, зимнего сна природы ее радостным и всегда как бы неожиданным для всех нас пробуждением.

Здесь надо сказать о том, что впервые стихотворение Ф.И. Тютчева в учебник для детей младшего школьного возраста «Родное слово» включил Константин Дмитриевич Ушинский. В основу композиции этой учебной книги был положен не природоведческий принцип наблюдений за сменой времен года, но идея литургического православного годового круга, чере-

ды церковных праздников, подготовки к ним. Стихотворение Ф. И. Тютчева «Весенние воды» помещено под рубрикой «Страстной понедельник», именно с этого дня усиливается пост и начинается напряженное ожидание Пасхи, Светлого Воскресенья. Воды у Тютчева шумят, предвещая близкий приход Весны: вот-вот должно наступить пробуждение природы, восстание ее от долгого зимнего сна. Это пробуждение природы традиционно в Православии рассматривается как прообраз воскресения Христа. Так, в каноне на Антипасху, составленном преподобным Иоанном Дамаскином, поется: днесь весна душам, зане Христос от гроба, якоже солнце, возсияв тридневный, мрачную бурю отгна греха нашего. Того воспоим, яко прославися... Днесь весна благоухает, и новая тварь ликует.

Радость и торжество, звучащие у Тютчева в словах: «Весна идет! Весна идет», сродни ликующей радости пасхальных песнопений.

В «Весне» Благиной пасхальный мотив также присутствует; правда, носит менее явный, чем у Тютчева, характер. Однако в другом «весеннем» стихотворении поэтессы — «Чудо» — мотив воскресения, победы жизни над смертью звучит уже открыто и сильно:

У нас в саду случилось чудо.
Нет, правда чудо, я не вру!
Вдруг ни оттуда, ни отсюда
Оно явилось поутру.

Вчера крыжовник весь светился —
Он был корявый и смешной.
А нынче сразу распустился,
Стоит под зеленью сплошной.

Какие соки в нём бродили,
Чтоб чуду этому помочь?
Или ветра его будили
Весь день вчерашний и всю ночь?

Иль так на солнышке пригрелся,
Так буйно жизнь в нём расцвела,
Что он, как званый гость, оделся
На праздник света и тепла?

Так же, как и в «Весне», поэтесса прибегает здесь к воссозданию интонаций и лексики детской речи, нарочитому снижению высокого словесного образа (Нет, правда чудо, я не вру!). И, вместе с тем, стихи напоминают торжествующее песнопение. Они все проникнуты благоговением и трепетом перед чудом воскресения, заканчиваясь выражением «праздник света и тепла», исполненным для всякого верующего русского человека глубокого смысла. Праздник этот, конечно же, — Светлое Воскресенье, Пасха.

Истоки радостного, пасхального мироощущения Благиной — в ее раннем детстве, в ее семье. Дедушка Елены Александровны по матери Михаил Иванович Солнышкин был священником. Именно он научил ее грамоте, церковно-славянскому языку. Память о детстве, проведенном в орловском селе Яковлеве, о строгом и возвышенном строе жизни, о семейных

отношениях, проникнутых духом христианской любви, о церковных службах и праздниках стала основой для формирования мировидения поэтессы, ее личности и творчества. Благинина вспоминает:

«Великопостные песнопения «Чертог твой вижду, Спасе мой» или «Да исправится молитва моя я слышу в себе до сих пор так же, как, скажем, концерт для гобоя и скрипки Вивальди или фуги Баха...

Помню отец всегда плясал, идя после Пасхальной заутрени под перезвон колоколов. Мать тревожилась: все-таки под колокольный звон плясать нехорошо»¹.

Заметим, что веселье отца Елены Благиной никоим образом не противоречит православным канонам, соответствуя духу, атмосфере Великого Праздника. Вспомним телевизионные сюжеты о сошествии Благодатного огня — самозабвенные танцы арабов перед входом в Храм Гроба Господня. В пятой же песне Пасхального канона преподобного Иоанна Дамаскина поется: Безмерное Твое благоутробие, адовыми узами содержимии зряще, к свету идяку, Христе, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную.

Радостное восприятие жизни, восхищение Божьим миром Елена Благинина стремится передать детям. Веселый, весело — ее любимые слова. Мы встречаемся с ними в самых разных стихах поэтессы:

Сукно и щётку приташил
Весёлый человек.
Он щётку воском навошил,
Весёлый человек.
И ну плясать, и ну свистеть —
И начал так паркет блестеть,
Что окна вместе с синим днём
Вдруг отразились в нём...;

Постиравши бельецо,
Мать выходит на крыльцо.
Солнце весело взглянуло.
Из-за тучки на неё,
Мать верёвку протянула и развесила бельё.
Ветер машет рукавами,
треплет кофты и штаны,
будто вдруг сбежались к маме.
Все танцоры-плясуны.

Печурка весело горит,
И варится кулеш. —
Сыночек, — мама говорит,
— Погрейся и поешь!
Я кулеша тарелку съел,
Я выпил кипятку
И с книжкой весело подсел.
К слепому огоньку;

и т.д.

1 Приходько В. А. Елена Благинина. Очерк творчества. М., 1971, с. 8, 10.

По своей солнечной природе, прозрачной ясности и легкости, богатству и разнообразию языка, включающего в себя и высокое церковно-славянское начало, и народную красочную речь, и богатую русскую литературную традицию стих Елены Благиной сближается с произведениями золотого века русской поэзии. Первым об этом написал в своей книге «Елена Благина. Очерк творчества» один из лучших критиков позднего советского времени В. А. Приходько: «Поэзия Благиной продолжает давнюю традицию внимательно-чуткого, любовного созерцания природы, которым так сильна русская классическая литература для детей»¹. Критик ставит стихи поэтессы в ряд со стихотворениями Ф.И. Тютчева, А.Н. Плещеева, Я.П. Полонского, Е.А. Баратынского. При этом автор книги о Благиной сочувственно цитирует писателя Василия Гроссмана, сравнивающего гениев XIX века с пекарями, а поэтов Серебряного века — с искусными ювелирами, которые, при всем их изощренном мастерстве, «не создали мер душ и вещей — святого ржаного хлеба»². В. А. Приходько замечает: «Поэтическая практика Елены Благиной свидетельствует, что она хотела быть ученицей великих пекарей, а не великих ювелиров»³.

«Святой ржаной хлеб» — это хлеб засушенный из молитвы «Отче наш», это пища для духа человека. И такую пищу, подлинно, дают стихи Елены Благиной. Как и у ее великих предшественников, поэтов Золотого века, невозможно провести строгую, четкую границу между ее «взрослыми» и детскими стихами, ряд которых был помещен поэтессой в сборники «Окна в сад» (1966) и «Складень» (1973). Одним из таких стихотворений является «Колея».

Над рожью, дождиком примятой,
Стоит денёк почти сквозной.
Орловский ветер пахнет мятой,
Польнью, мёдом, тишиной.
Иду стеной высокой хлеба,
Иду, иду да постою,
Любуюсь, как упало небо
В наполненную колею.
На синем дне летают птицы,
Плывут печально облака...
Стою... Мне страшно оступиться,
Мне очень страшно оступиться, —
Так эта пропасть глубока!

В этом стихотворении нет ни одного непонятного детям слова. Возникающая картина природы отличается точностью, конкретностью, узнаваемостью. Эффект соприсутствия читателя создается рядом деталей: вместе с лирической героиней мы идем по дороге среди полей смотрим, обоняем, слушаем, замечая мельчайшие детали — примятую дождем рожь, прозрачный, «сквозной» воздух, наполненную водой колею, отражающихся в ней

1 Приходько В. А. Елена Благина. Очерк творчества. М., 1971, с. 45

2 Василий Гроссман Добро вам! М., 1967, с. 211.

3 Приходько В. А. Указ. соч., с. 55.

птиц и облака... Особая ласковость интонации создается использованием слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: дождиком, денек. Образ «стеной высокой хлеба» полностью соответствует восприятию ребенка: детям все окружающие предметы кажутся гораздо выше, чем взрослым... Но есть в стихотворении и иной, символический план, доступный лишь людям искусственным, умудренным жизненным опытом.

«Рожь», «хлеб» отсылают напрямую к словам Василия Гроссмана о «святом ржаном хлебе». Стихотворение это — о наших корнях и основах. И за конкретными, земными деталями просвечивает облик иной, небесной реальности. Протоиерей Иоанн Журавский пишет о том, что «в Православии небо и земля неотделимы»¹. В стихотворении Благиной мы находим своеобразную иллюстрацию этой сокровенной истины. Проложенная в орловском черноземе, наполненная дождевой водой колея предстает окном в небо. Мы одновременно «падаем» и возносимся. Здесь возникают мотивы земного пути и небесной вечности. Особую роль в их передаче играет настоящее время глагола. Трижды повторяется форма «иду», которая имеет в данном случае наиболее распространенное для глаголов настоящего времени значение: «действие, совершаемое в момент речи». У Благиной мы сталкиваемся как бы с «настоящим репортажем», приёмом, который используют журналисты для создания эффекта соприсутствия автора и читателей в описываемой реальности — здесь и сейчас. Сначала движение носит прерывистый характер, оно сменяется остановками: «Иду, иду, да постою...». Но вот... Стоп кадр! «Стою...» Это — тоже настоящее время, однако значение его — другое. «Настоящее репортажа» сменяется «настоящим вневременным». Мы покидаем земную сиюминутность и оказываемся за пределами времени — в Вечности, перед лицом Ее.

За словами «страшно остушится» угадываются слова апостола Павла: «Блюдите, како опасно ходите!» (Ефес. 5, 15). Благининская «колея» при этом становится в один ряд с хорошо знакомым всем православным людям образом «лестницы» Иоанна. В подтексте стихотворения присутствует идея духовного восхождения как цели жизни человеческой. И эта идея сопряжена со страхом Божиим, опасением падения.

То, что было скрыто в подтексте стихотворений Елены Благиной, непечатанных при советской власти, открыто и ярко выражено в православной лирике, опубликованной недавно². Приведем некоторые из них:

КРЁСТНАЯ.

Пахнет хвоей и чуть-чуть снежком,
Зеркало завешено платком...

Крёстная моя лежит в гробу
Прибранная... С венчиком на лбу.

головах три бедные свечи...

1 Отец Иоанн Журавский. Тайна царствия Божия или забытый путь истинного Богопознания. О внутреннем христианстве. СПб., 2001.

2 Благина Е.А. Стихотворения. Воспоминания. Письма. М, 2015.

Отзвенели вешние ключи!
 Восковые руки на груди...
 Отошли ненастные дожди!
 У изножья дочь — седа, строга...
 Отсвистела лютая пурга!

В заскорузлых пальцах — образок...
 Матушка-а-а! Взглянула б хоть разок!

Кто-то, плача, вышел на крыльцо...
 — Родная-а-а! Промолвила б словцо!
 Но уста недвижны и чисты...
 ...Со святыми будешь, со святы...;

А война могла бы и не быть!
 А жена могла бы и не выть!
 А невеста жениха не ждать!
 А младенец сиротой не стать!

Божья мать на крик не кричать!
 Ангел смерти Азраил — молчать,
 В огненные трубы не трубить!

А война могла бы и не быть!

ANNO DOMINI (Посвящено Анне Ахматовой)

Как живется, затворница,
 На т о м берегу?
 Хороша ль твоя горница
 В последнем снегу?
 Может елки не ласться,
 Иль не желты пески?
 Иль земное злосчастье
 Память рвет на куски?

Иль в небесной хоромине
 Ты светла и легка?
 И течет Anno Domini
 Над тобой, как река...;

Да не сокрушится дух мой раньше тела!
 Господи! Тебе ведь все равно.
 Сделай так, чтоб птицей отлетело,
 А не завалилось, как бревно.

Владимир Александрович Приходько в своей книге, посвященной творчеству поэтессы, пишет о том, что Благинина не стремилась и не стремится к славе, считая, что в ней «нет необходимости»¹.

Смирением проникнуты последние стихи Благиной, в которых она дает оценку своей жизни и поэзии:

1 Приходько В. А. Елена Благинина. Очерк творчества. М., 1971, с. 108.

Я на земле не праздник жизни правлю,
 А скромное подвижничество дня,
 И потому не блеск звезды оставляю,
 А только отсвет тихого огня.

Один из наиболее известных православных подвижников XX века схиигумен Савва пронизательно замечает: «От человека, озаренного Христовой любовью, льется как бы тихий свет, как бы волны тепла льются в ваши души»¹. Эти слова в полной мере могут быть отнесены к Елене Александровне Благиной — хранительнице и провозвестнице Благой Вести Христа, замечательной писательнице, продолжающей в своем творчестве духовные традиции отечественной классической литературы и русской народной поэзии.



1 Схиигумен Савва «Семена сатаны и любовь Христова. О главных христианских добродетелях и гордости» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Savva_Ostapenko/semena-satany-i-ljubov-hristova-o-glavnyh-hristianskih-dobrodeteljah-i-gordosti/

МАРИАННА КОМОВА

ПРОТОТИПЫ ЛЕСКОВСКИХ ПРАВЕДНЫХ ИКОНОПИСЦЕВ:

Никита Рачейсков и иеромонах Иринарх

Тема иконописи и образы иконописцев возникают в творчестве Николая Семеновича Лескова не случайно. Иконопись, как род занятий и древнее искусство, служит полем пересечения нескольких «мотивов», проходящих через все творчество писателя.

Первый из них — тема праведничества. У Лескова, невзирая на его нелюбовь к теоретизированию, была собственная концепция праведности: «Прожить изо дня в день праведно долгую жизнь, не солгав, не обманув, не слукавив, не огорчив ближнего и не осудив пристрастного врага, гораздо труднее, чем броситься в бездну, как Курций, или вонзить в грудь себе пук штыков, как известный герой швейцарской свободы»¹. Праведность как каждодневная ответственность и усилие была своего рода условием работы иконописца — требованием, которое традиционно предъявляло к нему общество и которому мастер стремился соответствовать. При этом лесковские праведники — в русле романтической традиции, к которой он был близок, — это остро характерные персонажи с необычной судьбой, часто не вписывающиеся в доставшееся им время, «антики», выражаясь языком самого писателя. В середине XIX века иконопись, особенно та, что стремилась к сохранению традиционных форм, была едва ли не маргинальным видом творчества, удаленным от «магистральных путей» культуры. Неудивительно, что Лесков, с его тягой к «русской архаике», заинтересовался этим национально и религиозно окрашенным искусством. Его интерес к иконе распространялся и на самих мастеров — образы изографа Севастьяна из «Запечатленного ангела» и иеромонаха Иринарха из «Мелочей архиерейской жизни» списаны с людей, которых Лесков хорошо знал, чьей деятельностью живо интересовался. В связи с этим интересно обратиться и к творческому наследию прототипов лесковских персонажей и к тем свидетельствам их жизни, которые остались

¹ Лесков Н. С. О героях и праведниках (заметка) // Церковно-общественный вестник. 1881. № 129, с. 5.

за рамками произведений.

Характерно, что интерес к иконописи проявился у Лескова еще в детстве, когда, будучи гимназистом, он наблюдал за росписью Никитско-Ахтырской церкви в Орле¹. Позже, в Киеве в 1849–1857 гг. писатель стал свидетелем попыток «научной» реставрации живописи в храмах Софийского и Михайловского Златоверхого монастырей². Там он наблюдал за работой своего земляка, иеромонаха Иринарха, которого вывел затем под его собственным именем в серии очерков «Мелочи архиерейской жизни»

Окончательно иконографические вкусы Н. С. Лескова сложились в 1860–1870 гг. — в период плодотворных бесед со знатоками древнерусской культуры — филологами и искусствоведами³, а также с хранителями традиций — старообрядцами. Знакомство с одним из них, иконописцем Никитой Севастьяновичем (Северьяновичем) Рачейсковым, подтолкнуло Лескова к написанию его лучшего произведения о русской старине — повести «Запечатленный ангел». Сама композиция повести напоминает каноны древнерусской живописи: словно иконные «клейма» сцены и события её разворачиваются вокруг образа Ангела Хранителя.

В воспоминаниях о Рачейскове Лесков уделяет внимание «иконоподобному» облику мастера, которого он описывает как «...крупного мужчину, брюнета, со сверкающей проседью», перед работой подвизывавшего пряди волос ремешком на «художный» манер. Никита «исполнял (миниатюры) своими огромными и грубыми на вид руками удивительно нежно и тонко, как китаец»⁴. Поэтизировано и восторженно воспринимал Рачейского сын Лескова — Андрей Николаевич. В своих мемуарах он отмечал, что мастер «был стилин с головы до пят. Весь Строганова письма. Высок, фигурой суховат, в черном армячке почти до полу, застегнут под-душу, русские сапоги со скрипом. Картина! За работой в ситцевой рубахе, в серебряных очках, с кисточкой в несколько волосков в руке, весь внимание и благоговейная поглощенность в созидании (образов). Всего лучше была голова лик постный, тихий, нос прямой и тонкий, темные волосы серебром тронуты и на прямой пробор в обе стороны положены; будто и строг, а взглядом благостен. Речь степенная, негромкая, немногословная, но внятная и в разуме растворенная. Во всем образе — духовен!»⁵ Именно такой иконописец мог изобразить строй идеального бытия.

Нельзя не согласиться с Николаем Лесковым, что образ Христа на ико-

1 Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни (картинки с натуры) / Собрание сочинений в 12 т. М., 1989. Т. 6, с. 236.

2 А. Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. Тула, 1981, с. 92.

3 Ф. И. Буслаевым (которому посвящен «Запечатленный ангел») и В. А. Прохоровым (неклассный художник Академии художеств, основатель Музея древнего искусства при академии). См.: Г. И. Вздорнов. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. С. 117–125, 204.

4 Н. С. Лесков. О художнем муже Никите и о совоспитанных ему / Собрание сочинений в 12 т. М., 1989. Т. 11, с. 12.

5 Лесков. А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. Тула, 1981, с. 272.

нах Рачейскова «прост — до невозможности желать простейшего в искусстве; черты слегка означены, а впечатление полно», «взгляд прям», «в лике есть выражение, но нет страстей»¹. Описание напоминает образ Спасителя, хранящийся в Орловском музее И. С. Тургенева.

Эта икона принадлежала когда-то Лескову, и он очень дорожил ей. В письме издателю А. С. Суворину читаем: «Я свернул Ваше письмо и положил его в своей божничке строгановскому Спасу за спину. Он у меня бережет то, что мне нравственно дорого»². Никита Рачейсков выполнил эту миниатюру (размером 15 на 18,5 см) в 1870-е гг., а мастер-серебряник с клеймом «ПК» украсил ее накладными полями с 12 полудрагоценными камнями и металлической вязью и убрал в лакированный дубовый киот. Дарственная надпись на обороте от 9 января 1891 г. адресована сыну писателя. Дата соответствует окончанию Рождественского поста и началу Святков — времени, когда молодые традиционно получали благословение на брак. В 1891 году сын Лескова, Андрей, был повенчан с Ольгой Николаевной Лаунерт. О будущей свадьбе Лесков сообщил Суворину в письме от 31 октября 1890 г.: «Скоро буду женить сына... Он берет девушку скромную, хорошо воспитанную и с собственным куском хлеба про черный день. Рановато немножко — ему 24, а ей — 18, но ждать не хотят, ну и Бог с ними, пусть женятся!»³. По всей видимости, Лесков благословил сына иконой «Спас во звездах»⁴.

Даже человек слабо знакомый с искусством иконописи, увидев этот образ Спасителя, будет поражен уровнем мастерства. Многослойные прозрачные наплавления краски делают силуэт Христа мягким и светящимся изнутри. Этот прием дает эффект дымки, окутывающей Спасителя, фигура Его как будто возникает из лазоревой глубины рассветного неба, на котором видны звезды Нового дня и Нового века. Поражает обилие градаций золотого цвета на такой маленькой иконе. Линии ажурной вязи так тонки и точны, что кажутся чем-то нерукотворным. Золотые завитки, стебли, кружочки и листья составляют удивительное по красоте орнаментальное поле. Поверх одежд Спаса россыпью горят мельчайшие крупинки золота (напыление из золота и киноvari — индивидуальный прием Н. С. Рачейскова). Ювелирной работы нимб Спасителя играет и переливается на свету.

За незабываемый золотой фон Лесков назвал икону «Спас во звездах». Несомненно, фон этот имеет апокалипсический смысл, важный для староверов⁵. Например, на одной из живописных иллюстраций видений апостола

1 Лесков Н. С. На краю света / Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 12 т. М., 1989. Т. 1, с. 338-339.

2 Лесков Н. С. Собрание сочинений в 12 т. Т. 11, с. 311.

3 Там же, с. 467.

4 По завещанию Андрея Николаевича его вторая жена передала икону в 1956 г. в фонды музея писателей-орловцев. С 1974 г. она экспонировалась в Доме-музее Лескова, а в начале 1990-х была помещена в фонды ОГМТ.

5 Звезды на иконе Спаса геометрически неточны и не являются пентаграммой. Надо также отметить, что во II пол. XIX в. отношение церковной цензуры к пятиконечным звездам было терпимым.

Иоанна было изображение летящего ангела¹. Мерцающие звезды разной величины иллюстрировали тот момент, когда по звуку ангельской трубы небесные светила затмилась на треть.

Чтобы создать такой образ Спасителя, иконописец должен был пройти путь очарованного странника. Много о судьбе мастера Никиты мы узнаем из книги Андрея Лескова: «Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям». Никита Рачейсков был рожден среди приволжских просторов, на небольшом хуторе Самарской губернии². Неизвестно, была ли иконопись семейным ремеслом, но очевидно, что рано проявившееся дарование будущего мастера сыграло роль в выборе пути. Получив образование в провинциальной иконописной мастерской и показав пример смирения в обучении «лозой просоленной», мастер Никита долго странствовал по Центральной России и, возможно, Украине, выполняя заказы староверов. Получив их признание, он в 60-е гг. XIX века был приглашен одной из общин в Петербург.

По вероисповеданию Рачейсков относился к беспоповцам-безбрачникам. Как и многие увлеченные искусством люди, он не вдавался в подробности различий и «малывался и с «федосеевыми»... и с «филипповыми», несмотря на взаимное неприятие общин³. Он различал людей не по профессиональной принадлежности, а по способности следовать голосу совести. Поэтому «о вере никогда не спорил, а при подшучивании над ним, что он «ко всем согласный» со всегдашним добродушием отвечал: «Моя вера согласна к непостыдной совести, а и прочих я тоже не осуждаю и не боюсь постыжений»⁴.

Общины староверов-безбрачников имели монашеский устав. Очевидно, послушанием Никиты было выполнение иконописных заказов. Записная книжка Лескова сохранила адреса петербургских мастерских Рачейскова. В первой мастерской недалеко от федосеевской молельной он, как в келье, «„таланствовал“ и почивал, и вообще вел простодушное холостое житие свое»⁵. Получив заказ от беспоповцев федосеевской молельной на Волковом кладбище, он снимает под мастерскую комнату на Лиговской в доме старо-

1 К подобным изображениям можно отнести миниатюры из лицевых списков «Апокалипсиса» Иоанна Богослова, таких как «Апокалипсис толковый и Слово о втором пришествии Палладия Мниха» конца XVI века из собрания Музея имени преподобного Андрея Рублева (см.: Музей им. Андрея Рублева: из новых поступлений. М., 1995. Кат. 166).

2 Лесков упоминал о принадлежности Никиты к беспоповцам, что предполагало приход к вере во взрослом возрасте. Действительно, в Самарской губернии издавна селились старообрядцы-беспоповцы. Местом рождения Никиты могло быть с. Кануевка Самарской губернии, откуда происходит его воз-можный родственник — Яков Кириллович Рачейсков 1876 г.р., См.: www.memo.ru/memor/samary/sam161.htm — 53 К — 18.05.2001.

3 После «собора» в Угличе в 1827 г. отличавшиеся большей строгостью филипповцы постановили принимать даже близким им по «крепости веры» федосеевцев с «четыредесятным» постом (см.: Христианство. Энциклопедический словарь в 3 т.: Т—Я. М., 1995. Т. 3, с. 81-82, 120).

4 Лесков Н. С. О художнем муже Никите и о совоспитанных ему / Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 12 т. М., Т.11, с. 13.

5 Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. Тула, 1981, с. 271.

вера Луки Кириллова. Именно там произошло знакомство Лескова с иконописцем. Следующая «незатейливая... жаркая и душная» мастерская «в два окна на улицу» располагалась в «низку, вровень с тротуаром» в одном доме с раскольничьей молельной филипповцев. Благодаря пометкам в записной книжке мы узнаем, что повесть «Запечатленный ангел» была написана, когда мастер Никита переехал на Васильевский остров, поближе к филипповской молельне. Новое местожительство располагалось в двухэтажном каменном доме купца-старовера Федора Степановича Дмитриева по улице Болотной. Возможно, именно здесь, в окружении «деисусов, спасов, ангелов и «воев небесных» и многообразных «во имя» возникла идея повести об Ангеле Хранителе, по-священнически опекавшего и направлявшего общину беспоповцев к праведной жизни.

Беспоповцы не принимали икон написанных мастерскими других старообрядческих толков. Поэтому найти хорошего изографа-безбрачника, обладавшего талантом подновлять старые образа и писать «под старину», было делом особой важности, что отражено на страницах «Запечатленного ангела». Старообрядцы-беспоповцы из поморов и «Спасова согласия» выбирали иконы «под северные» и «под строгановские письма». В таком стиле работал Рачейсков. Так, на оборотной стороне его иконы «Спас в силах» имеется надпись: «Пошиб Новгор (одский) — плавь Строгон (овская) — Рачейскаго». Надпись появилась из-за особой популярности «дониконовых» строгановских икон, которые совмещались с новгородским кругом памятников (из-за близости к новгородским землям северных владений Строгановых). Рачейсков не только владел приемами строгановского и северного писем, но и был «изрядный богомолец и большой постник». Беря для поновления множество старых икон, он бережно относился к ним и никогда не подменивал новodelами, как бывало в других мастерских, что утвердило за ним репутацию честного изографа.

Иконы Никиты Рачейскова были лишь частью лесковского «маленького собрания» древностей, включавшего также живописные и графические композиции на религиозные сюжеты¹. При знакомстве с описаниями этого собрания обращает на себя внимание его пестрота, неоднородность работ по стилю и уровню исполнения². Андрей Лесков отмечал, что «всякая старинная вещица приводила его (отца — М. К.) в безграничный восторг, независимо от ее археологического значения». Писатель видел мемориальную

1 В 1864 г. Лесков изучает рукопись московского профессора С. К. Зарянка «Иконописный подлинник», о которой упоминал в «Благоразумном разбойнике» и сетовал на то, что этот труд не издан. В Петербурге он ознакомился с собраниями икон при Академии художеств и во дворце великой княгини Марии Николаевны Романовой, в Москве — с собраниями при Румянцевском музее и при Строгановском училище, в Киеве — при Музее христианских древностей. (см.: Благоразумный разбойник. Н. С. Лесков о литературе и искусстве. Л., 1984, с. 188, 191, 196, 276).

2 В журнале «Нева» за 1903 г. (№ 12) помещена фотография кабинета писателя, где находилось собрание икон. Из него сохранились три иконы: «Спас во звездах» Никиты Рачейскова, «Спас Вседержитель» работы столичных мастерских (передана в дом-музей писателя в 1990-е гг. дочерью воспитанницы писателя Варвары) и икона Богородицы «Утоли моя печали».

сторону всякого произведения церковного искусства: оно ценно потому, что «теперь так уже не делают»¹. Лесков не делал различия между иконописцами, работавшими в старой традиции и в живописном компромиссном стиле.

«Внеэстетическая» позиция давала возможность собирать иконы малоизвестных мастеров-живописцев и отстаивать их ценность перед столичными знатоками². Подобным самобытным вкусом отличался и земляк Николая Семеновича, один из «непорочных „младенцев в митрах“»³, — митрополит Киевский Филарет Амфитеатров (1779—1857). Он с настороженностью относился к новому стилю церковной живописи — неовизантийскому. Его более устраивали монастырские письма, непрофессиональные, но благодатные по особой теплоте и округлости письма. Главным критерием являлось не внешнее исполнение, а внутреннее содержание образа: переданное минимальными средствами молитвенное состояние. Монастырские письма почти не зависели от смены стилей, восприняв от древней иконописи не столько внешнюю форму (как в старообрядческом искусстве), сколько созерцательный настрой.

Иконописец Иринарх, представлявший «монастырское» направление происходил из простых мещан Орловской губернии. В 1835 - 1836 гг., еще будучи мирянином по имени Иоаким, он вместе со старшим братом, живописцем, участвовал в росписи Казанского придела Никитско-Ахтырского собора в Орле⁴. Когда Иоакиму исполнилось 36 лет, он принял постриг в Брянской Белобережской Иоанно-Предтеченской пустыни с именем Иринарх. Там он продолжил выполнять иконописные, стенописные, реставрационные работы «безвозмездно и собственным коштом», в том числе в грандиозном соборе Брянского Успенского Свенского монастыря⁵. В 1837 г. в Орле состоялась судьбоносная встреча Иринарха с киевским митрополитом Филаретом (Амфитеатровым), захватившим в родной Орел по дороге из Петербурга. Митрополиту понравилась роспись орловского собора, и Иринарх получил приглашение в Киев. Но данное брату обещание завершить начатую роспись отдалило отъезд. Иринарх прибыл в Киев вместе с учениками в сане иеродиакона в июле 1840 г. в период грандиозных работ по реставрации и реконструкции храмов Михайловского Златоверхого монастыря⁶, Софийского и Успенского соборов⁷. Отец Иринарх вошел в

1 Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. Тула, 1981, с. 425.

2 Например, случай с «Кагарлыкской Богородицей» В. Боровиковского, в художественной ценности которой Н. С. Лесков пытался убедить П. П. Чистякова.

3 Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни (картинки с натуры) / Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 12 т. М., Т. 6, с. 237.

4 Памяти архим. Иринарха // Киевские архиепископальные ведомости. 1879. № 40-41, с. 14-15..

5 Злотникова И. В. Страницы истории иконописания на Брянщине конца XVIII-начала XX века // Межвузовский сборник научных трудов «Религия, устроение, идеология в истории». Брянск, 1996, с. 105..

6 Лебединцев П. Г. Возобновление стеной живописи в великой церкви Киево-Печерской лавры в 1840—1843 гг. // Киевские университетские известия, 1878. № 3 (март), с. 38.

7 Там же, с. 391 - 392.

число соборных старцев Киево-Печерской лавры и возглавил иконописную мастерскую.

При мастерской была школа для мальчиков. О. Иринарх был «отличный школьмейстер, что совершенно основательно ценил в нем покойный владыка. Лаврская школа при о. Иринархе была относительно в таком цветущем состоянии», но пришла в упадок, «в каком я ее последний раз видел незадолго до кончины митрополита Арсения (Москвина — М. К.)»¹. «При Иринархе здесь не только «тонко» работали, но и недурно держали учеников, так что у них был свой товарищеский дух и предания, несколько напоминающие дух школ старинных монастырских маэстро». Ученики помогали о. Иринарху в росписи стен церкви митрополичьего дома в Софийском подворье, в Михайловском Златоверхом монастыре — подворье викарного епископа, и в Голосееве, где находилась дача митрополита. Везде, где была задействована школа, разворачивалась временная мастерская, при которой ученики жили, пока выполнялся заказ. Некоторые из выпускников школы поступили в Императорскую академию художеств.

В историю киевской иконописи о. Иринарх вошел как бесребреник, который «брался производить... работы в Софийском соборе из благого усердия, не требуя определенной платы, а хозяйственным образом и со значительным сбережением церковной суммы», о чем в 1851 г. была сделана соответствующая памятная надпись «вязью на средней арке, примыкающей к главному куполу» храма².

Митрополит Филарет считал о. Иринарха хорошим иконописцем, т. к. тот был «человек очень рачительный и очень полезный». Он не стремился выделяться среди других художников, в его работах не было «неприятной головастики» и «сухой вытянутости фигур», также он не «клонился к двоеперстию в благословляющих ручках», как мастера-староверы. Его манера соответствовала «довольно округлому монастырскому рисунку, в мягких тонах нежными лассировками, что, бесспорно, приличествует иконному роду живописи»³. Лесков замечал в его произведениях всепроницающий «теплый колорит родства святости»⁴.

Приступая к выполнению митрополичьего заказа, о. Иринарх ставил задачу увековечить духовный подвиг Киево-Печерских подвижников. Руководствуясь христианскими представлениями о высшем мире, где все едины, он не старался придавать характерные черты лику каждого святого, но обращал внимание на атрибуты, которые сопровождали их в молитвенном делании. Н. С. Лесков ввел по отношению к иконам Иринарха понятие «иконопортрет», отмечая, что тот «оставил в Лавре множество памятников своего удивительного мастерства... Замечательнейшие из произведений этого рода представляют иконопортреты святых, почивающих в ближних

1 Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни (картинки с натуры) / Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 12 т. М., 1989. Т. 6, с. 281.

2 Лебединцев П. Г. Указ. соч., с. 520.

3 Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни (картинки с натуры) / Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 12 т. М., 1989. Т. 6, с. 238–239.

4 Там же, с. 450–451.

и дальних пещерах, размещенные над их гробницами»¹. Многие из сохранившихся композиций о. Иринарха являются повторением гравюр авторитетного в среде иконописцев-монахов Киево-Печерского патерика второй половины XVII в. и графических образцов европейской живописи на религиозные сюжеты.

Обращая внимание на скромный художественный уровень произведений, Лесков в свойственной ему ироничной манере отмечал, что о. Иринарх «имел удивительное несчастье писать всех на одно лицо»² — качество, не удовлетворявшее вкусу «заезжих знатоков». Известно, что роспись Успенского храма, выполненная им, не понравилась Николаю I и его приближенным, желавшим видеть церковное искусство «по-византийски» зрелищным, эффектным и профессиональным. Живопись о. Иринарха была предназначена для монастырской молитвы, а не для вернисажей. Она доносила до паломников собирательный монументальный образ православного монашества. В иконах о. Иринарха нет ни одной лишней детали: светлые линии контуров нимбов, высветления тона на лбах, висках и дланях, темные клобуки, камешки четок, мерцающие кресты, строгое написание имени святого. Завораживающие своей отвлеченностью предстают перед нами печерские старцы: как горы возвышаются они над своими гробами, будто восклицая: «Христос воскрес!»». Вот единая мысль, воплощенная в образах святых.

К следованию аскетичной живописной манере о. Иринарх относился принципиально и не шел на компромисс, за что был обвинен в упрямстве и отстранен от росписи в Успенском соборе³.

По кончине митрополита Филарета в 1860 г. отец Иринарх был назначен игуменом Медведовского Николаевского монастыря Черниговской губернии. И здесь он основал живописную школу, а работы выполнял безвозмездно, являя «дело его», [которое] «было по истине подвигом христианского пожертвования, самого притом ценного, состоявшего в личном усердном труде», как отмечали очевидцы⁴.

В 1863 г. знакомый священник Николай Лихнякевич приехал сделать заказ Иринарху, но застал живописца в болезни, как казалось, неизлечимой, так как от него отказался лучший в округе врач. Священник высказал надежду, что игумен все же «выздоровеет еще настолько, что примет на себя труд живописать иконостас». В ответ отец Иринарх заверил, что «дает обет собственноручно и безвозмездно написать иконы для иконостаса нового храма, когда небесная Заступница воздвигнет его от болезни. Он прибавил, что, еще будучи 30 лет, он уже испытал действие такого св. обета, помолясь св. муч. Антике об исцелении долго и жестоко мучившей его зубной боли, не дававшей ему возможности работать». Затем отец Николай свидетельствует:

1 Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни (картинки с натуры) / Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 12 т. М., 1989. Т. 6, с. 451.

2 Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни (картинки с натуры) / Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 12 т. М., 1989. Т. 6, с. 451.

3 П. Г. Лебединцев. Возобновление Киево-Софийского собора в 1843-1853 гг. // Труды Киевской духовной академии. 1873. № 3, с. 37-38.

4 Памяти архим. Иринарха // Киевские апархияльные ведомости. 1879. № 40-41, с. 14-15.

«9 сентября, в день праведных Иоакима и Анны, игумен Иринарх приехал здоровым ко мне в село Талдык, осмотрел старый иконостас церкви и взялся обновить его. Храмовую икону праведных Иоакима и Анны с младенцем Марией он написал совершенно даром, как бы в жертву своему ангелу Иоакиму, в благодарность за исцеление». За последующий двухлетний труд по изготовлению 37 икон для иконостаса «о. Иринарх ничего не взял, исключая небольшой уплаты за добавочные работы (напр. позолоту и т. п.) и в вознаграждение участвовавшим в работах ученикам своей школы»¹. Лесков не знал подробностей жизни отца Иринарха после его перевода из Лавры, но поступки этого праведного человека, описанные иными очевидцами соизвучны «картинкам с натуры», созданным писателем.

Мы не можем отыскать в архивах подробностей о кончине о. Иринарха, лишь упоминание с опозданием на 10 лет — в Киевских епархиальных ведомостях за 1879 год. Этот самобытный мастер «совоспитанный» Филаретом Амфитеатровым и кропотливо сохранявший «стародавний» взгляд на мир, остался для нас старцем вне времени, как и образы созданных им иконо-портретов.

В 1881 г., после выхода в свет серии очерков «Мелочи архиерейской жизни», Н. С. Лесков последний раз приехал в Киев, где жил и трудился праведник-иконописец. Писатель побывал в лаврских пещерах, посетил Софийский собор, Михайловский Златоверхий монастырь. К тому времени погребальные одежды уже скрыли от мирского взгляда того, кто носил имя Иринарх. Эпитафией его пути звучат слова Лескова: «Все это творил о. Иринарх — довольно строгий монах, но большой любитель своего ремесла и заботливый укоренитель его в тех, кого судьба давала ему в ученики»².

А в конце ноября 1886 г. умер и Никита Рачейсков, смиренно завершивший земной путь на родине в Самарской губернии. Как и положено лесковскому праведнику, он явил пример удивительной по своей простоте жизни. В «отходной», написанной изографом за несколько дней до смерти «охолодевшей рукой», была лишь робкая просьба, чтобы квартирная хозяйка взяла его вещи в счет долга, а чужие иконы «раздала бы людям, кто что испросит свое». Отсутствие казусов при раздаче как бы подтвердило веру Никиты Рачейскова в божественный дар — непостыдную совесть, которая, согласно Н. С. Лескову, «как скрытая теплота подледная», есть в каждой душе и «с нею никто разлучиться не может»³.

Принадлежавших к разным направлениям православия иконописцев Никиту Рачейскова и отца Иринарха объединяло главное — стремление не погрешить против совести. Им были свойственны одни и те же качества праведной души: верность христианству, твердость нравственных ориентиров, безыскусность, смирение, созерцательность и внутренняя свобода, которые отражены в их творчестве.

1 Памяти архим. Иринарха // Киевские епархиальные ведомости. 1879. № 40, с. 15.

2 Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни (картинки с натуры) / Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 12 т. М., 1989. Т. 6, с. 452.

3 Лесков Н. С. О художнем муже Никите и о совоспитанных ему / Н. С. Лесков. Собрание сочинений в 12 т. М., Т.11, с. 13.

Приведенный ниже материал является частью книги Тимофея Сергейцева, Дмитрия Куликова и Петра Мостового «Идеология русской государственности. Континент Россия» (СПб, 2021 г.). В книге исследуются особенности русского исторического пути и национального самосознания. Фрагмент публикуется с разрешения автора.

ТИМОФЕЙ СЕРГЕЙЦЕВ

ИДЕОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА ПЕТРА I. В ПОНИМАНИИ И ИЗЛОЖЕНИИ ПУШКИНА

Петру пришлось начинать с центрального, главного вопроса установления *личной власти* государя, в том числе в отношении её с войском, стоя перед проблемой властной преемственности, в острой политической борьбе. Решив этот вопрос, Пётр стал свободен. Он получил *право менять установившиеся традиционные порядки*.

И уже из этой свободной государственной позиции совершенно осознанно и целенаправленно модернизировал Россию, создал русские армию, флот и госаппарат в их современном понимании, завершил формирование и явление миру имперского проекта России, в том числе забрав у церкви не только идеологические функции, но, наконец-то, земли и судебную власть. Раскол, после введения Петром государственного управления церковными делами по протестантскому образцу, *стал окончательным и необратимым*. Старообрядцы окончательно уверились, что и Церковь, руководимая таким государством, отошла дьяволу. *Империя Петра далее развивалась как светское государство, противопоставленное народу*.

Чьими глазами, слухом и разумом надёжнее и понятнее постичь идеологию Петра Великого? Советская историография ряд фактов и событий исключала из поля внимания вовсе. Те, что оставались, должны были пониматься исключительно в плане подтверждения научной теории о происхождении общественных явлений, выводящей последние — как и ход исторического процесса — из экономической основы. Такая избирательность — норма для научного, объективистского метода построения знаний. Между тем собственно историческое знание имеет своим содержанием отнюдь не объективные законы, а *выявление и понимание целей и оснований поступков людей, их мотивацию*, а в той мере, в которой история есть знание не только о человеке, но и о социуме, — *основания, представления и цели людей власти*.

Человек не слишком изменился за весь *исторический* период своего су-

ществования, что собственно и составляет основную гипотезу истории (так же, как самотождественность высказывания — основную гипотезу логики, а единство и однородность пространства-времени — основную гипотезу физики). Поэтому историческое знание всё рельефнее рисует нам эмпирического человека.

Марксизм фактически был выражением доминирующего буржуазного сознания эпохи: *человеком движут исключительно экономические мотивы*. Это кредо капиталиста. И только его. Сегодня та же марксистская догма ходит в личине либерального *идола* «потребностей», решительно умалчивая о том, что удовлетворение потребностей вовсе не закрывает, а как раз открывает вопрос о человеческой мотивации. **Искусственное раздувание потребностей ради экономического «роста» призвано как раз лишить человека его сущности, его мотивации, которую Новый Завет решительно определяет: не хлебом единым жив человек.**

Либеральная доктрина вообще запретила всякую историю, традицию и прошлое — живите днём сегодняшним. Это та же научная догма, только в другой проекции: *если я знаю состояние системы и её закон, то всё её будущее предопределено*. Вместо возвращения к исторической широте взгляда на самих себя нам предложили вовсе позабыть о том, кто мы такие, откуда и куда идём. Введён в оборот идол «идентичности» — как будто, глядя в свой паспорт, можно этим и удовольствоваться для постановки целей и выбора ориентиров. Разумеется, эта «идентичность» (аисторическое и антиисторическое самоопределение как доминанта социума) оказалась тут же сугубо дефицитной, распадающейся, исчезающей — и как же нам, бедным и несчастным, удержать-то её при себе? Помогите нам, «русская идея», ещё одна фикция нищенствующего сознания, лишённого исторических корней, пытающегося добыть абстрактную личность индивида из абсолютного нуля.

Развёрнутого исторического анализа царских времён просто нет. Литература того времени подвержена либо правительственному *политическому идеализму*, либо его антитезе — поверхностным внешним негативным оценкам интеллигентов, читающих европейских авторов. Так что всё придётся выяснять и открывать заново. **Без действительного исторического основания идеологическая работа невозможна.** Но вот на базе исторического знания уже *идеолог, а не историк* анализирует те действительные основания человеческого действия, те цели и мотивации, которые оказываются эффективны, позволяют решать проблемы и противоречия эпохи и двигаться дальше. Именно идеологу виден мир ошибок и заблуждений, обрёкших их носителей на гибель и падение в могилу прошлого. **Извлечение из истории её уроков — работа идеолога.**

Первым идеологом Петровского долгого государства — после самого Петра I Великого — был и остался Александр Сергеевич Пушкин. Живший столетием позже основателя, Пушкин остро осознавал, что окружающий его русский имперский мир — петрово творение, потенциал которого отнюдь не исчерпан и ещё развернётся в будущем, а продолжение петровского дела было и остаётся русской судьбой, со всем её счастьем и трагедией. Пушкин не миновал духа бунтарства — как в отношении государства, так и

веры. Однако рефлексия позволила Пушкину преодолеть фундаментальный запрет на участие в государственных делах, установленный для поэтов Платоном и обстоятельно обоснованный в «Государстве» (текст которого и начинается с этого запрета). Кроме Пушкина тот же путь рефлексии прошёл и другой столп нашей культуры — Фёдор Михайлович Достоевский, причём в ещё более жёсткой и резкой, конфликтной форме.

Платон оставил один вариант для возвращения поэта в государство: если он станет идеологом. Когда такое случается, то злые языки говорят: продался, согласился служить. Всё прямо наоборот. Это общество говорит языком, который создаёт идеолог. Так и было в случае Пушкина, тем и сильны его мысли и чувства, ставшие основой русского духа. Идеологи — если таковые случаются — *нужны царям*, и цари это *понимают*. Понимал это и Николай I, сотрудничая с Александром Сергеевичем в деле обоснования русской идеологии. А Достоевский-идеолог уже предупреждал нас о приближающемся конце петровского проекта, указывая на его действительные проблемы и кризис.

Запрет Платона исходит из осознания одного из самых глубоких противоречий в основаниях европейской цивилизации, присущего ей с самого начала изъяна, своего рода первородного греха. *Потеря единства знания, морали и эстетики* — вот та древняя проблема, предшествующая самой греческой философии как таковой. Может, его и не было никогда, этого единства — золотого века? И все наши цивилизационные поиски лежат в установлении максимальной степени указанного единства. Платон попытался в проекте государства связать знание и мораль, пожертвовав эстетикой. Его государство отвратительно.

Христос принёс решение — истина есть единство знаемого, должного и прекрасного. Однако научное знание Нового времени решительно отвергло и нравственность, и красоту, вознамерившись *властвовать самостоятельно*. Хотя именно открытию Бога наука Нового времени обязана своим появлением — греков страшила сама идея бесконечности, богословие же превратило бесконечность в предмет познания. Сегодня мы вступаем в постнаучную эру, когда результаты самовластия науки вызывают всё больше заслуженной критики, хотя её идол ещё не свергнут и мешает её собственному развитию.

Но то, что ещё не под силу человечеству или народу, может оказаться миссией и призванием отдельных личностей. Пушкин — как раз такая русская личность, создающая нашу цивилизацию, что и даёт ему право быть русским идеологом.

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет»¹

Сорок пять лет спустя мысль Гоголя продолжает и развивает Достоевский:

1 Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине. 1835.

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», — сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению тёмной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание.»¹

А ведь срок, обозначенный Николаем Васильевичем, ещё не истёк, пятнадцать лет впереди. Мы ещё вполне можем успеть.

Итак, слово Пушкину. Но прежде — Чаадаеву, который совершенно определённо связывает статус Пушкина как столпа русской культуры именно с вхождением его на поприще идеологии.

Чаадаев — Пушкину:

«18 сентября (1831 г.)

Я узнал, что вы получили назначение, или как это назвать, что вам поручено написать историю Петра Великого. В добрый час! Поздравляю вас от всей души. Перед тем как высказываться дальше, я подожду, пока вы сами заговорите со мной об этом. Прощайте же.

Я только что прочёл ваши два стихотворения. Друг мой, никогда ещё вы не доставляли мне столько удовольствия. Вот вы, наконец, и национальный поэт; вы, наконец, угадали своё призвание. Не могу достаточно выразить своё удовлетворение. Мы побеседуем об этом в другой раз, обстоятельно. Не знаю, хорошо ли вы понимаете меня. Стихотворение к врагам России особенно замечательно; это я говорю вам. В нём больше мыслей, чем было высказано и осуществлено в течение целого века в этой стране. Да, друг мой, пишите историю Петра Великого».

Вряд ли Пушкин буквально «получал назначение». Пушкин определил свой собственный интерес к русской истории и современности. Он получил предназначение — от судьбы, и согласие — от императора. Прочтём и мы эти два стихотворения, а также собственный Пушкина комментарий к своей позиции.

Помним, что:

- в 1830 году во Франции произошла очередная революция;
- в 1831 году в России было польское восстание.

«Ныне, когда справедливое негодование и старая народная вражда, долго растравляемая завистью, соединила всех нас против польских мятежников, озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветой... Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападки иностранных газет»².

1 Речь от 8 (30) июня 1880 года в заседании Общества любителей российской словесности.

2 Пушкин А. С. Письмо А. Х. Бенкендорфу. Около (не позднее) 21 июля 1831 г. Царское Село.

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

О чем шумите вы, народные витии?
 Зачем анафемой грозите вы России?
 Что возмутило вас? волнения Литвы?
 Оставьте: это спор славян между собою,
 Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
 Вопрос, которого не разрешите вы.
 Уже давно между собою
 Враждуют эти племена;
 Не раз клонилась под грозою
 То их, то наша сторона.
 Кто устоит в неравном споре:
 Кичливый лях, иль верный росс?
 Славянские ль ручки сольются в русском море?
 Оно ль иссякнет? вот вопрос.
 Оставьте нас: вы не читали
 Сии кровавые скрижали;
 Вам непонятна, вам чужда
 Сия семейная вражда;
 Для вас безмолвны Кремль и Прага;
 Бессмысленно прельщает вас
 Борьбы отчаянной отвага -
 И ненавидите вы нас...
 За что ж? ответствуйте: за то ли,
 Что на развалинах пылающей Москвы
 Мы не признали наглой воли
 Того, под кем дрожали вы?
 За то ль, что в бездну повалили
 Мы тяготеющий над царствами кумир
 И нашей кровью искупили
 Европы вольность, честь и мир?
 Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
 Иль старый богатырь, покойный на постеле,
 Не в силах завинтить свой измайловский штык?
 Иль русского царя уже бессильно слово?
 Иль нам с Европой спорить ново?
 Иль русский от побед отвык?
 Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
 От финских холодных скал до пламенной Колхиды,
 От потрясённого Кремля
 До стен недвижного Китая,
 Стальной щетиною сверкая,
 Не встанет русская земля?
 Так высылайте ж к нам, витии,
 Своих озлобленных сынов:
 Есть место им в полях России,
 Среди нечуждых им гробов.

2.08.1831 написано

16.08.1831 опубликовано

Лучшего предсказания судьбы немецкой нации, посягнувшей на Россию, наверное, не было сделано. А «польский вопрос» сегодня закономерно сменился «украинским», за которым стоит всё то же напряжение развития славянских этносов до русской цивилизации.

«...Если заварится общая, европейская война, то, право, буду сожалеть о своей женитьбе, разве жену возьму в торока»¹.

БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА

Великий день Бородина
 Мы братской тризной поминая,
 Твердили: «Шли же племена,
 Бедой России угрожая;
 Не вся ль Европа тут была?
 А чья звезда её вела!..
 Но стали ж мы пятою твёрдой
 И грудью приняли напор
 Племян, послушных воле гордой,
 И равен был неравный спор.
 И что ж? свой бедственный побег,
 Кичась, они забыли ныне;
 Забыли русской штык и снег,
 Погребший славу их в пустыне.
 Знакомый пир их манит вновь -
 Хмельна для них славяннов кровь;
 Но тяжко будет им похмелье;
 Но долог будет сон гостей
 На тесном, хладном новоселье,
 Под лаком северных полей!
 Ступайте ж к нам: вас Русь зовёт!
 Но знайте, прощенные гости!
 Уж Польша вас не поведёт:
 Через её шагнёте кости!»
 Сбылось — и в день Бородина
 Вновь наши вторглись знамена
 В проломы падшей вновь Варшавы;
 И Польша, как бегущий полк,
 Во прах бросает стяг кровавый —
 И бунт раздавленный умолк.
 В боренье падший невредим;
 Врагов мы в прахе не топтали,
 Мы не напомним ныне им
 Того, что старые скрижали
 Хранят в преданиях немых;
 Мы не сожжём Варшавы их;
 Они народной Немезиды
 Не узрят гневного лица
 И не услышат песнь обиды

1 Пушкин А. С. Письмо П. А. Вяземскому, 14 августа 1831. Торок — ремешок у седла. «Взять в торока» означает прикрепить к седлу, т. е. взять с собой.

От лиры русского певца.
 Но вы, мутители палат,
 Легкоязычные витии,
 Вы, черни бедственный набат,
 Клеветники, враги России!
 Что взяли вы?.. Ещё ли росс
 Больной, расслабленный колосс?
 Ещё ли северная слава
 Пустая притча, лживый сон?
 Скажите: скоро ль нам Варшава
 Предпишет гордый свой закон?
 Куда отвинем строй твердынь?
 За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
 За кем останется Вольнь?
 За кем наследие Богдана?
 Признав мятежные права,
 От нас отторгнется ль Литва?
 Наш Киев дряхлый, златоглавый,
 Сей пращур русских городов,
 Сроднит ли с буйною Варшавой
 Святыню всех своих гробов?
 Ваш бурный шум и хриплый крик
 Смугили ль русского владыку?
 Скажите, кто главой поник?
 Кому венец: мечу иль крику?
 Сильна ли Русь? Война, и мор,
 И бунт, и внешних бурь напор
 Её, беснуясь, потрясали —
 Смотрите ж: всё стоит она!
 А вокруг её волненья пали —
 И Польши участь решена...
 Победа! сердцу сладкий час!
 Россия! встань и возвышайся!
 Греми, восторгов общий глас!..
 Но тише, тише раздавайся
 Вокруг одра, где он лежит,
 Могучий мститель злых обид,
 Кто покорил вершины Тавра,
 Пред кем смирилась Эривань,
 Кому суворовского лавра
 Венок сплела тройная брань.
 Восстав из гроба своего,
 Суворов видит плен Варшавы;
 Вострепетала тень его
 От блеска им начатой славы!
 Благословляет он, герой,
 Твоё страданье, твой покой,
 Твоих сподвижников отвагу,
 И весть триумфа твоего,
 И с ней летящего за Прагу
 Младого внука своего.

26.08.1831, день взятия Варшавы и 19-я годовщина Бородинского сражения. Всё точно. И Польша, и Литва, и Украина — вся имперская окраина — останутся в пределах государства, учреждённого Петром I Великим. И отпустим мы их под действием отнюдь не внешнего давления, а только собственных, внутренних изменений, причём сделаем это дважды.

Пушкин — П.Я. Чаадаеву

«19 октября 1836 года.

Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали[23]. Я с удовольствием перечёл её, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нём сохранена энергия и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что Схизма отделила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые её потрясли, но у нас было особое предназначение. Это Россия, это её необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена.

Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческий мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве.

Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и всё. Оно не принадлежит к хорошему обществу. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие её могущества, её движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — так неужели всё это не история, а лишь бледный полузабытый сон?

А Пётр Великий, который один есть всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привёл нас в Париж? И (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблён, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог её дал.

Вышло предлинное письмо. Поспорив с вами, я должен сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие

ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши исторические воззрения вам не повредили. Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передавали вашу рукопись журналистам. Я нигде не бываю и не могу вам сказать, производит ли ваша статья впечатление. Надеюсь, что её не будут раздувать. Читали ли вы 3—1 Но “Современника”? Статья “Вольтер” и Джон Теннер — мои, Козловский стал бы моим провидением, если бы захотел раз навсегда сделаться литератором. Прощайте, мой друг. Если увидите Орлова и Раевского, передайте им поклон. Что говорят они о вашем письме, они, столь посредственные христиане?»

Черновик письма **едва ли не важнее** чистовика:

А. С. Пушкин [черновик]

«19 октября 1836 г. Петербург.

Пётр Великий [уничтожил] укротил дворянство [указом], опубликовав Табель о рангах, духовенство — [положив свою шпагу] отменив патриаршество [(NB Наполеон говорил Александру: вы сами у себя поп, это совсем не так глупо)], но одно дело произвести революцию, другое дело это [её сохранить] закрепить её результаты. До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вместо того, чтобы её упрочить. Екатерина II ещё боялась аристократии; [и не поставила границ] Александр сам был [революционером якобинцем]. Вот уже 140 лет как табель о рангах сметает дворянство; а нынешний император первый воздвиг платину (очень слабую ещё) против наводнения демократией худшей, чем в Америке (читали ли вы Торквилья? [он напугал меня] я ещё весь разгорячен его книгой и совсем напуган ею).

Что касается духовенства, оно вне общества [потому что борода-то — вот и всё] оно ещё бородато. [Его нигде не видно, ни в наших гостиных, ни в литературе, ни в]. Оно не принадлежит к хорошему обществу. Оно [не выше народа] не хочет быть народом. Наши государи сочли удобным оставить его там, где они его нашли. Точно у евнухов — у него одна только страсть — к власти. Потому его боятся. И [я знаю] кого-то [кто] несмотря на всю свою твердость, согнулся перед ним, в одном важном вопросе — [что в своё время меня взбесило].

[Вы из этого заключаете, что мы не] Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам ну и прекрасно, но не следовало этого говорить.

Ваша брошюра произвела, кажется, большое впечатление. Я не говорю о ней в обществе, в котором [нахожусь].

Что надо было сказать и что вы сказали — это то, что наше современное общество столь же презренно, сколь глупо; [что оно не заслуживает даже], что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что есть справедливость, право и истина; [это циничное презрение] [ко всему], что не является [материальным, полезным] необходимостью. Это циничное презрение к мысли, [красоте] и к достоинству человека. Надо было прибавить (не в качестве уступки [цензуре], но как правду), что правительство все-таки единственный Европейец в России [и что несмотря на всё то, что в нём есть тяжкого, грубого, циничного] И сколь бы грубо [и цинично] оно ни было, только от него зависело бы стать во сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания.

[Завоевания [Игоря] Рюрика [и Олега] стоят завоеваний Нормандского Бастарда]. Юность России [развилась] весело прошла в набеги Олега и Святослава и даже [в том порядке вещей] в усобицах, которые были только непрерывными поединками — следствием того брожения и той активности, свойственных юности народов, о которых вы говорите в вашем письме.

Нашествие — печальное и великое зрелище — да, нашествие татар, разве это не воспоминание».

А теперь читаем «Историю Петра» Александра Сергеевича.
И делаем авторские заметки «на полях».

А. С. Пушкин:

Из очерка «Введение»

«§ 2.

Россия разделена на воеводства, управляемые боярами.

Бояре беспечные

Их дьяки алчные

Народ taillable a merci et mise ricode[24]

Правосудие отдалённое, в руках дьяков.

Подати многосложные и неопределённые.

Беспорядок в сборе оных.

Пошлины, и таможи внутренние.

а) притеснения

б) воровство

Внешняя торговля:

а) Арханг<ельск> ая младенческая

б) Персидская

с) Волга

Военная сила начинала получать регулярное образование.

Стрельцы, казаки, образ войны и вооружения.

Законы, более обычаи, нежели законы — неопределены, судьи безграмотные. Дьяки плуты.

Просвещение развивается со времен Бориса; правительство впереди народа; любит иноземцев и печется о науках. Духовенство. Его критический дух».

Управление большим государством, *обречённым на дальнейшее имперское развитие, масштабу государства и имперской программы уже не соответствовало. Проблемная ситуация* начала царствования Петра Великого задана Пушкиным точно.

А. С. Пушкин:

«Опозиция негодует:

1) на возведение на высокие степени людей из низкого звания, без различия с дворянами,

2) что государь окружил себя молодыми людьми, также без разбору,

3) что позволяет им осмеивать бояр, наблюдающих старые обычаи,

4) что офицеров, выслужившихся из солдат, допускает к своему столу и с ними фамильярно обходится (в том числе — Лефорт),

5) что сыновей боярских посылает в чужие края для обучения художествам, ремеслам и наукам, недостойным дворянского звания,

6) что записывает их в салдаты и употребляет во всякие работы,

7) что дал князю Ромодановскому власть неограниченную. Всё сие бояре почитали истреблением знатных родов, унижением дворянства и безнравственностью.

Прочие причины негодования суть:

1) Истребления стрельцов.

2) Учреждение Тайной канц.<елярии> .

- 3) Данное холопьям дозволение доносить на господ, укрывающихся от службы — и описывание их имения в пользу доносителей.
- 4) Новые, разорительные подати.
- 5) Построение С.-Петербурга, чищение рек и строение каналов.
- 6) Военные суды, жестокость и невежество судей.
- 7) Отменение в определениях и приговорах изречения: государь указал, а бояре приговорили. Следствием сей меры было, говорит Штр.<аленберг>, то, что никто не смел государю говорить правды.
- 8) Славление Христа о святках, государя и первых бояр, ругательство веры, училище пьянства.
- 9) Принуждение, чинимое купцам, товары привозить в П.Б. и торговые казённые караваны в Пекин — разорительные для торговли.
- 10) Перемену русского платья, бритье бород, немецкие обычаи, иностранцы — причины мятежей и кровопролития.
- 11) Суд над царевичем».

За «сие» ругают Петра Великого и сегодня. Дескать, порушил самобытность русскую, делегитимизировал власть (боярскую, надо полагать), привнёс тлетворную западную культуру (пить и курить, конечно, нехорошо, но этим поддерживали себя в море и на войне моряки и солдаты). Зря построил Санкт-Петербург — надо было сдать его Гитлеру, а не защищать, зачем нам, варварам, мирового значения мегаполис... И так далее. И бороды, бороды, что дались ему эти бороды? А чтобы служащие люди государственные от попов отличались.

А. С. Пушкин: «Густав Ваза, узнав, что королева Елисавета прислала ц<арю> Ивану Васильевичу пушки в подарок, жаловался ей на то. На большом сейме в Любеке 1563 году определено не впускать в Россию корабельных мастеров, что ими было исполнено, когда до 300 художников и мастеров прибыли было в Любек морем».

Глянь-ка, санкции европейские были уже тогда. *Стратегия «сдерживания России» не сегодня родилась.* Ну, так царь сам за корабельными мастерами поехал. И за художниками.

А. С. Пушкин: «За посылание молодых людей в чужие края старики роптали, что гос.<ударь>, отдавая их от православия, научал их басурманскому еретичеству. Жёны молодых людей, отправленных за море, надели траур (синее платье) (Фамильное предание)».

«Народ почитал Петра анти-Христом».

Скажем прямо — немного для этого потребовалось. Таково было состояние нашей веры — искренней, но дремучей. Впоследствии Петра фундаментально обвинят в искажении «собственного» исторического пути России (как может исторический путь быть не собственным?) в сторону подражания Западной Европе и, тем самым, в сторону гибели. Между тем Петром руководила отнюдь не страсть подражания и любовь к иностранцам, а элементарный здравый смысл: *не выдержим военной и промышленной конкуренции — просто исчезнем вместе со всей своей самобытностью.* Проблема актуальна и сегодня.

Пётр решительно противопоставил обеим сторонам раскола новое со-

держание жизни и деятельности, того самого *светского морального порядка*, которого так стало не хватать Русскому государству. Раскол не исчез, он перешёл в скрытое, латентное течение, дал себя знать на дальних горизонтах исторического процесса, но Пётр пресёк его влияние на судьбу государства, *хотя и не на народ*. С теократическим наследием византийского извода и поиском вариантов отношений государства и церкви в его рамках было покончено — как с проблемой, которая сдерживала в неразрешимом круге противоречий развитие российской государственности.

А. С. Пушкин: «Пётр замыслил о соединении Чёрного моря с Каспийским и принял уже ту работу».

А вот и создание *гигантских, континентальных инфраструктур*. В будущем будут Транссиб и космодром Байконур. А в прошлом, с этого момента и нашим, — ирригационные системы Египта и Вавилона. Когда «цивилизованное человечество» взялось за Суэцкий и Панамский каналы? Пётр мыслит технологическими мероприятиями *создания территории*, актуальными и сегодня.

А. С. Пушкин: «Пётр звал к себе Лейбница и Вольфа, первому пожаловал почётный титул и пенсию. Лейбниц уговорил славного законоведа и математика Голдбаха Христиана приехать в Россию».

Впоследствии Ломоносов, в эпоху «людей Петра» после Петра, учился у Вольфа, к которому приехал сам. Отсюда пошла наконец-то наша Академия наук, прямое исполнение воли Петровой. А дальше русская земля стала рождать «собственных Платонов и Невтонов», как и предсказывал Ломоносов в своей оде.

А. С. Пушкин: «Рассказывают, будто бы на третьем году его возраста, когда в день именин его, между прочими подарками, один купец подал ему детскую саблю. Пётр так ей обрадовался, что, оставя все прочие подарки, с нею не хотел даже расставаться ни днём, ни ночью. К купцу же пошел на руки, поцаловал его в голову и сказал, что его не забудет. Царь пожаловал купца гостем, а Петра, при прочтении молитвы духовником, сам тою саблею опоясал. При сем случае были заведены потешные».

Вот когда и как появились потешные войска, из которых вырастут российский армия и флот! Вот когда и как определилось *военное призвание государя!*

Как трогательно и символично это отцовское благословение! Как же сирота по отцу смог стать великим царём? Увидим ниже.

А. С. Пушкин: «Когда слабому здоровьем Феодору советовали вступить во второй брак, тогда отвечал он: “Отец мой имел намерение нарещи на престол брата моего, царевича Петра, то же сделать намерен и я”. Сказывают, что Феодор то же говорил и Языкову, который ему сперва противоречил и наконец отвратил разговор в другую сторону и уговорил его на второй брак. В самом деле, 1682 г. февраля 16, Феодор женился на Марфе Матвеевне Апраксиной, но в тот же год апреля 27 скончался, наименовав Петра в преемники престола (в чём не согласен Миллер. См. Оп.<ыт>тр.<удов Вольного российского собрания> . Ч. V, стр. 120). Царевичу Иоанну было 16 лет, а Петру 10 лет».

Выбор царя Фёдора, основанный на решении отца, — одно из немногих оснований, укрепивших Петра. В конце своей великой жизни Пётр включит этот опыт — а также свой собственный, в том числе трагедию с царевичем Алексеем — в концепцию *свободного выбора монархом своего преемника. Эта концепция актуальна и сегодня, её ещё только предстоит освоить на систематической основе.* Ельцин выбрал преемником Путина. В русской истории после Петра этот принцип не был усвоен, потому приходилось обеспечивать линию преемственности государства государственными «переворотами», происходили неизбежные царевубийства внутри самого царского дома.

А. С. Пушкин: «Все государственные чины собрались перед дворцом. Патриарх с духовенством предложил им избрание, и стольники, и стряпчие, и дьяки, и жильцы, и городовые дворяне, и дети боярские, и гости, и гостиные, и чёрных сотен, и иных имён люди единогласно избрали царём Петра.

Патриарх говорил потом боярам и окольным и думным и ближним людям, и они были того же мнения.

Пётр избран был 10 мая 1682 г., и в тот же день ему присягнули: царица Наталья Кирилловна наречена была правительницею, но чрез три недели всё рушилось. Боярин Милославский и царица Софья произвели возмущение».

Внимание: избран. Избран. ИЗБРАН. Несомненен *государственный ум и характер* матери Петра, которая смогла вложить в материнскую любовь к сыну воспитание и обучение будущего великого царя. Второе — роль патриарха, церкви в воспроизводстве русской власти и государства. Патриарх и духовенство — *организаторы выборов.*

А. С. Пушкин: «Мая 18. Стрельцы вручили царевне Софии правление, потом возвели в соарствие Петру брата его Иоанна. 25 мая царица правительница короновала обоих братьев. София уже через два года приняла титул самодержицы-царевны (иногда и царицы), называя себя во всех делах после обоих царей». «София возвела любимца своего князя Голицына на степень великого канцлера. Он заключил с Карлом XI (1683) мир на тех же условиях, на коих был он заключен 20 лет прежде. Россия была в миру со всеми державами, кроме Китая, с которым были неважные ссоры за город Албазин при реке Амуре».

А вот и переворот. Всё в государстве было хорошо. Бывают такие моменты в истории. Софья употребила именно этот ресурс внешнего спокойствия *для борьбы за личную власть*, для этого ослабив государство. Такое будет случаться в нашей империи и в будущем. Именно эта борьба непосредственно *выковала из Петра царя* — он оказался *готов к ней*. Ослабленное государство в свою очередь стало пригодным материалом для реформы. Показали себя во всей красе стрельцы и бояре. С них Пётр и начнёт переборку устаревшего механизма государства.

А. С. Пушкин: «Стрельцы получили денежные награждения, право иметь выборных, имеющих свободный въезд к великим государям, позволение воздвигнуть памятник на Красной площади, похвальные грамоты за государственными печатями, переименование из стрельцов в надворную пехоту. Выборные несли сии грамоты на головах до своих съезжих изб, и полки встретили их с колокольным звоном, с бара-

банным боем и с восхищением. Сухарев полк один не принял участия в бунте. Царевна поручила Стрелецкий приказ боярам князьям Хованским, Ивану Андреевичу и сыну его Феодору, любящим стрельцов и тайным раскольникам Аввакумовской и Никитской ереси. Вскоре после того (?) стрельцы под предводительством растриги попа Никиты производят новый мятеж, вторгаются в соборную церковь во время служения, изгоняют патриарха и духовенство, которое скрывается в Грановитую палату. Старый Хованский представляет патриарху и царям требования мятежников о словопрении с Никитой. Стрельцы входят с налоем и свечами и с камнями за пазухой, подают царям челобитную. Начинается словопрение. Патриарх и холмогорский архиепископ Афанасий (бывший некогда раскольник) вступают в филологический спор. Настает шум, летят камни (сказка о Петре, будто бы усмирившем смятение). Бояре при помощи стрельцов-нераскольников изгоняют наконец бешеных фелогогов. Никита и главные мятежники схвачены и казнены 6 июня. Царица Наталья Кирилловна, по свидетельству венецианского историка, удалилась с обоими царями в Троицкий монастырь. После того Пётр удалился в село Преображенское и там умножает число потешных (вероятно без разбору: отसेле товарищество его с людьми низкого происхождения). Старый Хованский угождал всячески стрельцам. Он роздал им имение побитых бояр. Принимал от них жалобы и доносы на 140 Часть II. Философия истории русского государства мнимые взятки и удержание поможных денег. Хованские взыскивали, не приемля оправданий и не слушая ответчиков».

Вот как вооружённые силы оказываются развращены участием в смещении избранного царя, пусть и не полном. Такая армия нам не нужна. С ней не повоюешь — она больна политическими болезнями Древнего Рима, беременна Гражданской войной. Ясно различимо в этом эпизоде и политическое функционирование раскола. Описанный период вдохновил Модеста Мусоргского на сочинение оперы «Хованщина».

А. С. Пушкин: «Петру I, бывшему по 12 году, дана была полная свобода. Он подружился с иностранцами. Женевец Лефорт (23 (?) годами старше его) научил его гол. (?) языку. Он одел роту потешную по-немецки. Пётр был в ней барабанщиком и за отличие произведён в сержанты. Так начался важный переворот, в последствии им совершённый: истребление дворянства и введение чинов».

Вот кто заменил Петру отца. И старших братьев. И опять спасибо мудрой матери. Так Пётр стал мужчиной. Очень важно и другое — вот это «истребление дворянства» и «введение чинов». *Не властвовать должно было дворянство (боярщина), а служить.* Как и было назначено Иваном III и Иваном IV. А для этого быть дворянству перемолотым государственным аппаратом, слитым с ним и растворённым в нём. На этом всякая мечта о боярской федерации и соответствующей феодальной демократии временно умерла. До современного Пушкину декабрьского мятежа 1825 года. Но это же (служба и сращивание с госаппаратом) сделало дворянство единой политической силой, которая, осознав себя, начнёт последовательно *освобождаться от службы*, навяжет государям утопию *помещичьей опоры самодержавия*.

А. С. Пушкин: «Бояре с неудовольствием смотрели на потехи Петра и предвидели нововведения. По их наущению сама царица и патриарх увещевали молодого царя оставить упражнения, неприличные сану его. Пётр отвечал с досадою, что во всей

Европе царские дети так воспитаны, что и так много времени тратит он в пустых забавах, в которых ему однакож никто не мешает, и что оставить свои занятия он не намерен. Бояре хотели внушить ему любовь к другим забавам и пригласили его на охоту. Пётр сам ли от себя или по совету своих любимцев, но вздумал пошутить над ними: он притворно согласился: назначил охоту, но приехав объявил, что с холопями тешиться не намерен, а хочет, чтоб господа одни участвовали в царском увеселении. Псаря отъехали, отдав псов в распоряжение господ, которые не умели с ними справиться. Произошло расстройство. Собаки пугали лошадей: лошади несли, седоки падали, собаки тянули шнуры, надетые на руки неопытных охотников. Пётр был чрезвычайно доволен — и на другой день, когда на приглашение его ехать на соколиную охоту господа отказались, он сказал им: «знайте, что царю подобает быть воином, а охота есть занятие холопское».

Не дураки были бояре. Осознавали, что их ждёт. Фёдора они так и свели в могилу. Но не только это понимал уже Пётр. К своим 12 годам он полностью освоил государственное мышление и себя мыслил исключительно государем. Как это возможно? Конечно, нужен гений, историческое чудо, дарованное русским. Но у чуда всегда есть человеческое исполнение. Надо думать, мать готовила своего сына к великой роли осознанно и умело — как Богородица своего. И Пётр опирался на мать в переломный момент, на суде. Она первая ему присягнула. Роль её ещё предстоит понять и достойно представить в русской истории.

А. С. Пушкин: «Пётр занимался строением крепостей и учениями. Иоанн, слабый здравием и духом, ни в какие дела не входил. Вельможы, страшась ответственности в последствии времени, уклонились от правления — и царевна София правила государством самовластно и без противуречия».

Как потратила Софья драгоценное время своего регентства? Почему не нашла пути, который сблизил бы её с Петром? Зачем было ей быть ему врагом? *Временщики не ставят стратегических вопросов.* Её преследовала как возмездие *слабость государства, ею же созданная.* Попросту она оказалась аморальна для роли государыни.

А. С. Пушкин: «Супруга царя Иоанна сделалась беременна: сие побудило царицу Наталью Кирилловну и приближённых бояр склонить и Петра к избранию себе супруги. Пётр 27 янв. (по друг. 17) 1689 г. женился на Евдокии Феодоровне Лопухиной, и в следующем 1690 году родился несчастный Алексей. Брак сей совершился противу воли правительницы. Пётр уже чувствовал свои силы и начинал освобождаться от опеки».

Опять очевидно стратегическое участие матери в судьбе Петра. Никогда Пётр не пенял матери за этот вынужденный брак, хотя жену первую и сослал впоследствии в монастырь. Пётр мать любил, уважал до самой её кончины и жить предпочитал с нею — в Потешном дворце отца. Не случайно дворец назван Потешным, потешных же в трёхлетнем возрасте завёл младшему сыну отец, Алексей Михайлович Тишайший. Это его слово, его идея. Как знал, что с самых малых лет придётся сыну самому — играя — учиться на царя. Без отца.

А. С. Пушкин: «Пётр с обеими царицами, с царевной Наталией Алексеевной, с некоторыми боярами, с Гордоном, Лефортом и немногими потешными убежал в Троицкий монастырь. Гордон говорит: без штанов. Перед восходом солнца прискакал Щегловитый с убийцами, но, узнав об отсутствии царя, сказал, что будто приезжал он для смены стражи и поспешил обо всём уведомить царевну. Она не смутилась и не согласилась последовать совету князя Голицына, предлагавшего ей бежать в Польшу. Скоро все приближённые к государю особы приехали к нему в Троицкий монастырь. Оттуда послал он в Москву указ к своим боярам и иностранцам быть немедленно к нему с их полками».

Боялся? А то! Ещё как. Кто сказал, что великие не боятся? Боятся. Но делают. Но лучше бы Софья боялась больше.

А. С. Пушкин: «7 сентября, от имени обоих царей состоялся указ, чтоб ни в каких делах имени бывшей правительницы не упоминать. Пётр выехал из монастыря и отправился в Москву. В с. Алексеевском встретили его все чины московские при бесчисленном множестве народа. Стрельцы от самого села до Москвы лежали по дороге на плахах, в коих воткнуты были топоры, и громко умоляли о помиловании. Пётр въехал в Москву 10 сентября и прямо прибыл к собору. От заставы до самого собора стояло войско в ружье. Пётр за спасение своё отслужил благодарственное моление. Перед ц. домом встретил его Иоанн. Оба брата обнялись и старший в доказательство своей невинности уступил меньшему всё правление, и до самой кончины своей (1696 г.) вёл жизнь мирную и уединённую. Отселе царствование Петра единовластное и самодержавное».

То есть все три брата были до конца верны друг другу. Что говорит о достигнутом ином качестве русской властной традиции по сравнению с княжескими порядками прошлого, с междоусобицей и всеобщим нестроением под монголами. *Русское государство присутствовало в братских отношениях, касающихся власти.* Софья не поняла и не учла этого.

(Окончание в следующем номере)

АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЕНКО

ЗА ДАЛЬЮ НЕПОГОДЫ

Памяти Вячеслава Горбачёва

В один из летних дней писатель Игорь Дьяков шёл по Николо-Архангельскому кладбищу в подмосковной Балашихе. Недалеко от Аллеи Героев он неожиданно увидел могилу человека, известного в эпоху перестройки. В судьбе Дьякова он тоже сыграл немалую роль. В 1988 году тот, будучи заместителем главного редактора журнала «Молодая гвардия», пригласил его на должность заведующего отделом очерка и публицистики. Четыре года они работали в одной команде, главным мотором которой и был лежащий под скромным памятником — Вячеслав Васильевич Горбачёв, литературный критик и бесстрашный публицист. Одним из первых в стране он увидел истинное лицо своего державного однофамильца и не устранился заявить об этом публично, чем поразил и друзей, и врагов.

Игорь Дьяков сфотографировал надгробие и поместил фото с комментарием в Интернете. Так мир узнал дату смерти исчезнувшего со страниц периодических изданий писателя и критика Вячеслава Горбачёва - 11 июня 2007 года.

А родился он 16 июня 1941 года в селе Петровка Петровского района Донецкой области. Вот строки из автобиографии: «Итак, я родился за неделю до войны на Донбассе, куда орловские наши мужики часто отправлялись перед войной, да и после войны, на заработки. А в два месяца от роду, на плечах матери, в узелке, вернулся обратно — пешком притащила она меня на родину в село Гуторово Кромского района Орловской области, и стал жить, как и все в ту пору, на голодном пайке лет эдак до десяти... Сначала в Гуторово, потом в Шахово, куда мать перевели работать».

Горбачёв хорошо знал крестьянскую жизнь, среднерусскую полосу. «Когда станет тебе трудно, немогогу, — говорил ему в далёком детстве мудрый дед, — ты отодвинь, как недоеденный хлебушко, все заботы и хотя бы мысленно обратись из своего далека к родному порогу. И если уж не будет тех рук, что ласкали пестали тебя, и время уже источит стены отчего дома, ты всё-таки обратись душою к родимой стороне, поклонись синему вечер-

нему небу, и звёздам, и полям, что кормили тебя, и воде, что поила тебя, и всему миру поклонись...»

Семья переехала в Орёл, где будущий писатель учился сначала в 12-й, а с пятого класса — в 30-й средней школе. С детства он мечтал о море, мечтал писать стихи. После окончания в 1961 году Горьковского речного училища имени И.П. Кулибина работал в портах Дальнего Востока. Затем вернулся в Орёл к родителям, был инженером, заводским мастером, журналистом, ответственным секретарём в многотиражных газетах.

Активно сотрудничал в газете «Орловский комсомолец». Здесь появились его публикации: «Светит всегда, светит везде...» (1962, 11 дек., в соавторстве с Л. Золотарёвым, о работе заводского «Комсомольского прожектора»), «Светлый ключ. (1963, 16 марта, о механике Л. Сопове), «Героическая проза» (1964, 20 сен., о творчестве Николая Родичева) и другие.

В Орле Горбачёв вступил в партию, в 1966 году получил рекомендацию Орловской писательской организации в Литературный институт имени М. Горького (его прозу рецензировал тогда Евгений Горбов). Первая повесть «Испытание на молодость» — вышла ещё во время студенчества (1969). Она была написана по дальневосточным впечатлениям. Но сильнее были впечатления орловские. Горбачев признавался: «Орёл — моя родина. Она для меня — как вода, как воздух, без которых жить невозможно, нельзя». В столичных журналах периодически появлялись его статьи о творчестве писателей-орловцев: Петра Проскурина, Николая Родичева, Алексея Леонова.

В 1972 году вышел сборник повестей Горбачёва «По зрелой сенокосной поре», который открывала повесть «Земной поклон». Были в её начале такие строки: «Где бы ни была родная сторонка, ей всегда место в нашем сердце. Бывает, иногда вдруг покажется, что потерялась туда дорога, песком забвения перемело памятные стёжки в прошлое. От такого чувства горько сердцу, и, словно в беззвучном крике, долгом, как журавлиный клин в осеннем небе, займётся оно печалью. В искуплении какой-то непрощаемой вины захочется преклонить голову перед отчим порогом».

В основе повести — воспоминания о детстве и юности. В ней встречаются описания безымянного города на Орлее-реке (её автор называет светлой, невестницей). «Летом, в конце июня, после тёплой дождливой ночи зацветают старые липы, и каждая гудит, подобно пчелиному улью. Мёд золотисто-белых соцветий хмельным праздничным дурманом застилает голову. От запаха горячего асфальта и от горячей сухой пыли, поднимаемым раскалённым солнцем и ветром, саднит и першит в горле.

... Тихих улиц и высоких раскидистых лип на каждый мой приезд в городе всё меньше. Тихих старых улиц с тёмными от густой зелени садами и палисадниками, где пионы в сумерки похожи на разноцветные воздушные шары, привязанные у самой земли к кустам, с каждым разом становится меньше, потому что новые улицы растут в городе, как грибы после дождя и, тоже как грибы, похожи одна на другую. Теснят они старый город».

А вот картина, которую без труда узнает любой житель Орла: «За Дворцом пионеров — Дом Советов: высокие этажи, высокие римские колонны... Перед зданием, среди геометрически точно расчерченных цветников — Ле-

нин. Памятник со старой площади у театра, — теперь он стал как будто выше... А от Ленина далеко видно. И сам город, какой-то зеленовато-голубой после дождя, широко распластавший над Орлеей крылья проспектов, и дымящие трубы заводов, и землистые башни элеваторов за городскими окраинами. Ещё дальше — жёлтые ленты полей, задривок тёмного леса и бесконечно прозрачный, призрачный горизонт».

И, как контраст, — описание кладбища, где похоронена Милена, погибшая в автокатастрофе первая и единственная любовь главного героя. Рефреном в повести идут цитаты из её дневников и писем, дающие картину жизни провинциальной русской семьи, образы людей того времени.

Живо описана в повести редакция молодежной газеты. В образе корреспондента Славы Половинкина угадываются черты Владимира Муссалитина и Леонарда Золотарёва, ответственный секретарь Каплик чем-то похож на Владимира Коробкова. А в образе редактора Тимофея Колобова «слиты» два довольно разных прототипа: Геннадий Харитонов (неуёмная энергия, напор, стремление создать мощную команду) и Иван Рыжов (тонкий стилист, лирик, мечтающий поставить памятник Бунину).

Журналистика в повести изображается как азартная игра: борьба за славу и власть. Это претит герою (хотя он талантлив и ему прочат карьеру) и он уезжает на работу в порт Находка. Да и другие журналисты понимают, что однажды «игра» закончится.

Пожалуй, самая лиричная сцена в повести — катание на коньках влюблённой пары. И последующий символический контраст — одинокий молящийся старик у стен закрытой Николо-Песковской церкви. Хочется привести один из финальных аккордов: «После дождей, ливней, когда глянуло ненадолго солнце, просохли тропинки, я набрал осенних листьев и отнёс на кладбище... И с окраины города — с кладбища, от её могилы, я поклонился родному краю, родном небу и земле, праху её поклонился — низким, земным поклоном. И знаю теперь, где бы я ни был, какое бы лихо ни пришлось пережить, труднее не будет. И горькая память этого лета уже никогда не изгладится во мне, и от горьких воспоминаний о нём станет мне легче. И никогда не оскверню я земли, вспоившей и вскормившей меня, поставившей на ноги, с материнским благословением отпустившей меня в нелёгкую дорогу...

Земной поклон тебе, родина, и ныне, и присно!»

В 1975 году Горбачёв был принят в Союз писателей СССР. Работал старшим редактором отдела критики журнала «Октябрь», заведующим отделом критики и литературоведения в издательстве «Современник», заместителем главного редактора Госкомиздата РСФСР, а с середины 80-х — заместителем главного редактора «Молодой гвардии».

Он пробовал свои силы и в «крупной форме» — в 1977 году был издан роман «За далью непогоды» (переиздавался в 1980 и 1987 годах). Книга посвящена героическому труду гидростроителей, возводящих электростанцию в условиях сибирского Заполярья, в зоне вечной мерзлоты. Роман обратил на себя внимание. И в 1986 году творческим объединением «Экран» по нему был снят двухсерийный фильм «На пороге». Горбачев выступил сценари-

стом. Режиссёром был его ровесник, Александр Воропаев, известный зрителю как оператор телеспектаклей «Дамы и гусары», «Ярмарка тщеславия».

Этот кинематографический опыт оказался единственным. Отступал интерес к художественной прозе, на первое место выходила литературная критика. В 1982 году вышла первая книга этого жанра: «Сражается слово. О гражданственности литературы». Авторское предисловие завершалось пафосно: «Советская литература целеустремлённо стремится пробудить к активной творческой деятельности всех граждан, и потому так важна и злободневна для нас и тема гражданственности - активной, наступательной и сознательной силы общества - и в самой жизни, и в литературе». Горбачёв, анализируя произведения таких прозаиков и поэтов, как Л. Леонов, В. Кожевников, А. Иванов, А. Софронов, В. Чивилихин и других, ставил вопросы духовного развития общества. Следующий сборник критики, «Заветное слово», вышел в 1986 году.

Это было уже время перестройки. Эйфория «гласности» не позволяла большинству представителей интеллигенции разглядеть полускрытый до времени отказ от моральных норм, опасность отталкивания всего советского или русского. Перестройка застала Горбачёва в редакции «Молодой гвардии» — журнала, который в этот период подвергся травле. Одной из главных ее мишеней стал персонально Вячеслав Горбачёв, который прославился смелыми статьями «Перестройка и подстройка» (1987), «Что впереди» (1986, о романе Василия Белова «Всё впереди») и рядом других. В статьях он последовательно отстаивал патриотическую линию и приверженность лучшим традициям русской и советской литературы. Они вошли в книгу критики «Постижение» (1989). В книге были также статьи о творчестве В. Чивилихина, П. Проскурина, А. Калинина, А. Софронова.

В статье «Перестройка и подстройка» (первоначально напечатана в № 7 «Молодой гвардии» за 1987 год) Горбачёв даёт исторический экскурс, размышляя о Сталине, о Хрущёве и причинах неудачи «оттепельной перестройки», о массе казусов и противоречий своего времени.

Причиной неудач перестройки Вячеслав Горбачёв называл расшатывание устоев: «Безнравственность стала матерью, нет - злой мачехой многих пороков: взяточничества и коррупции, кумовства и покровительства, распущенности и безответственности, наконец, того же потребительства и мещанства. И в этом свете бюрократизм... оказывается ничем иным, как овеществлённой формой безнравственности». Грустно признавать, но писатель здесь, основываясь на понимании наметившихся тенденций, ставит диагноз обществу на десятилетия вперед.

Была в статье и критика в адрес ряда изданий: «Литературной газеты», «Московских новостей», «Огонька», «Недели». Автор приводит факты доказательные, свидетельствующие, что эти издания ведут общество опасным путём. Показывает, что их политика ориентирована на потребу обывательским вкусам и мещанской морали, а не на организацию деятельного и сплочённого участия советских писателей и интеллигенции в перестройке.

В то же время «западники» самым яростным образом нападали на «Молодую гвардию» и другие немногочисленные издания традиционалистского

направления. Эту борьбу Горбачёв точно сравнил с ситуацией конца 1920-х годов: «Рапшовская групповщина не знала народной жизни, не понимала её и была далека настолько, что едва ли не всякое живое слово народа и о народе расценивала как проявление невежества, национализма или славянофильства, причём если уж славянофильства, то обязательно реакционного. На честных писателей навешивались ярлыки антиисторизма, внеклассовости, антисемитизма».

Однако ответ на ключевой вопрос «что делать» у самого автора получился не очень конкретным: он лишь повторял тезис о том, как важна «настоятельная необходимость объективного научного, методологического, художественного освоения всей послереволюционной эпохи».

Вслед за этой статьёй в сборнике «Постижение» был напечатан обзор «Надо идти дальше» — об полемике вокруг «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова. Либеральные журналисты обрушили на Горбачёва и редакцию «Молодой гвардии» шквал обвинений: консервативный журнал, устаревшие догмы, шлагбаум для молодых писателей, оппозиция перестройке, реакционность, «журнал обюрократился».

Но были и ободряющие отклики. Так Сергей Карелин из орловской Залегощи писал: «Два месяца назад мне предложили, а позднее избрали вторым секретарём райкома комсомола. Решающее значение на моё согласие пойти на работу в комсомол оказала статья В. Горбачёва «Перестройка и подстройка», а также публицистические статьи В. Белова. Становишься сильнее и увереннее, когда видишь, что есть люди, которые всерьёз и с душевной болью за происходящее ведут борьбу за перестройку, не позволяя увести её во вчерашний и позавчерашний день. Прошедшие два месяца доказали мне, что борьба с бюрократией стократно сложнее, нежели мне представлялось ранее».

Один из читателей предложил для борьбы с бюрократизмом «создать Комиссию при ЦК КПСС с большими, независимыми полномочиями». Но было уже поздно. От даты подписания «Постижения» в печать до августовского путча оставалось чуть больше двух лет.

Однако Вячеслав Горбачёв ещё не терял надежды. В 1990 году он принял участие в составлении письма деятелей культуры и науки России в высшие органы власти — так называемого «Письма 74-х», которое подписали также Леонид Леонов, Игорь Шафаревич, Александр Проханов, Станислав Куняев, Виктор Лихоносов. В письме, в частности, говорилось: «в последние годы под знамёнами объявленной “демократизации”, строительства “правового государства”, под лозунгом борьбы с “фашизмом и расизмом”... происходит беспримерная во всей истории человечества массированная травля, шельмование и преследование представителей коренного населения страны, по существу объявляемого “вне закона” с точки зрения того мифического “правового государства”, в котором, похоже, не будет места ни русскому, ни другим коренным народам России... “Русский характер исторически выродился, реанимировать его — значит, вновь (?) обрекать страну на отставание, которое может стать хроническим”, — читаем мы напечатанное на русском языке, на бумаге, выработанной из русского леса. Само существование “рус-

ского характера”, русского этнического типа недопустимо по этой чудовищной логике! Русский народ объявляется сегодня лишним, глубоко нежеланным народом. “Этот народ с искажённым национальным самосознанием”, — заключают о русских советские политические деятели и журналисты...».

В 1992 году в «Молодой гвардии» были напечатаны «современные притчи» Горбачёва «Загадай желание» и «Будить Русь!». Тогда же он дал рекомендацию в Союз писателей поэту Осеневу (псевдоним Анатолия Лукьянова): «Глубоко уверен, что стихи Анатолия Лукьянова войдут в русскую литературу как свидетельство человеческой драмы, преодоления суетного плена и трудной работы по очищению души. Поэзия узника «Матросской тишины» однозначно свидетельствует о таланте, нашедшем свой путь».

Своеобразным возвращением на малую родину было участие Вячеслава Горбачёва в издании брянского журнала «Десна» (основан в 1994 году). Здесь он стал членом редколлегии, заведующим отделом критики. Самая заметная публикация в «Десне» — обращение к читателям к 100-летию со дня рождения Леонида Леонова «Собирайте духовные силы» (Десна, 1996, № 6). Обращение к этому имени было не случайно, Горбачёв тогда был не только секретарём Союза писателей России, но и заместителем председателя комиссии по творческому наследию Л.М. Леонова. Помимо призыва поделиться воспоминаниями о великом русском писателе, собрать материалы, связанные с его жизнью и творчеством, талантливый критик писал и о судьбе Отечества:

«Лёгкий холодок стекает с головы до пят, когда мысль о жестокой панораме грядущего, говоря словами леоновского прозрения судеб человеческих, доходит до сознания и ты понимаешь почти полную неотвратимость агонии будущего. Если это рок, его неизбежность тронет каждого — тебя, твоих детей, твоих дальних потомков. И Россию. И Россию, может быть, прежде всего.

Леонид Леонов никогда не считал себя и никогда не был пророком ради пророчества... Главное — в окормлении созидательных сил возрождающейся России. Жестокая панорама грядущего, равно и настоящего, должна рассеяться, если, сплотившись, совокупными усилиями всех и каждого мы укрепим друг друга, укрепим духовно крылья Родины. Ибо во тьму или к свету выбираем путь.

Во времени разворачивался диалог поколений, озабоченных собиранием нравственных сил. Несмотря на усталость и кровавые перегрузки века, духовное возмужание России становилось очевидностью, сатанинское сопротивление которой вышло наружу язвами перестройки. Язвами нашего разобщения и недоверия друг другу. Теперь здесь ратное поле. Здесь цементируется соборность, которая укрепит наши силы, иначе — что без них духовные крылья родины?»

При всех усилиях мне не удалось найти других публикаций Вячеслава Горбачёва этого периода. Да, это была середина трудных 90-х. Но и тогда не прекращали работу многие русские писатели. К тому же возраст (55 лет) для прозаика и критика совсем не предельный. Горбачёв мог реализовать как журналист, редактор, издатель, педагог, историк литературы, сцена-

рист... Но ещё тридцатилетним он произнёс такие слова: «В молодые годы мы вовсе не думаем о конце, мы лишь торопимся к нему, и эта жажда жизни чем-то похожа на наживу. Скорей бы день, да ещё день! Торопимся по жизни, как по Третьяковской галерее — скорей обежать всю! — как будто умышленно забываем, что потом уже нельзя будет вернуться, остановиться, оглядеться». Наверное, в 90-е эта усталость перевешивала все благие пожелания и планы, многое уже не получалось или не могло получиться.

Как бы то ни было, он остался в истории нашей литературы и общественной мысли не просто писателем, а пророком. Светлым и мужественным, застенчивым и непреклонным. И даже его слова о «ратном поле» оказались вещими — родное село на Донбассе с 2014 года стало местом обстрелов и сражений.

Ещё в 1990 году издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу Горбачёва «Неоконченные споры». Эта полемика, эта битва за истину не окончена и по сей день...



ЛЮДМИЛА ИВАНОВА-ПРЕСНОВА

ПАЛЬНЯНКА

Рассказ-очерк

*... Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам...*

И. В. Тальков. «Россия»

Я давно мечтала увидеть Пальню, бывшее имение Стаховичей, где бывали Пушкин и Толстой, Бунин и Репин, где когда-то жил и творил Михаил Александрович Стахович — писатель, поэт, этнограф и композитор. И вот, спасибо журналистской профессии, — мечта приблизилась к воплощению. Но тревожно было на сердце. Что, если от былого великолепия остались руины, прах, запустение? В старинных усадьбах приходилось бывать не раз, и всегда поражало общее равнодушие к их судьбе.

В ночном поезде до Ельца я не сомкнула глаз. В Пальню попала светлым и ранним утром. Кругом благоухала сирень и вскоре среди молодой зелени навстречу мне поднялся дворец старинной усадьбы. Ясными классическими пропорциями и декором стен — под каменную кладку, он напомнил итальянские палаццо XVI века. Облик здания был параден и светел. Высокая полукруглая лестница поднималась к двухэтажной ротонде в центре фасада, по бокам ее взметнулись белоснежными крыльями колонные портики, поставленные на высокие, в полтора человеческого роста, основания. Полуциркульные окна-лоджии дополняли торжественное впечатление.

Однако, присмотревшись, я заметила нелепое сооружение, пристроенное к левой лоджии и разноцветные занавески за рамами царственных окон, говорящие о том, что залы превращены в клетушки. Да и громоздкие решетки на окнах нижнего этажа нарушали стиль.

Оказалось, здесь размещалась контора скотплемзавода. Туда я и обратилась в поисках приюта. Директор предложил поселиться в гостинице в десяти километрах от Пальны. Но я отказалась, решив про себя: «Нет, я ехала именно СЮДА и жить должна ЗДЕСЬ. Поищу какую-нибудь одинокую ста-

рушку, да у нее и поселюсь на время командировки».

Мне повезло. Тут же, в коридоре конторы, ко мне подвели молодую женщину, совхозного счетовода, которая взялась разрешить мои трудности. Она, недолго думая, отвела меня к своей старенькой матери.

Квартирную хозяйку звали Прасковьей Афанасьевной. Жила она в старом бревенчатом доме на несколько семей и занимала в нем квартиру со своим крыльцом, сенцами и двумя комнатами, разделенными коридором.

— Мам, я тебе квартирантку привела, — улыбнулась Лида, открывая дверь в комнатку с маленькой печкой в углу.

— Ну что ж, — поднимаясь с кровати, дружелюбно и согласно кивнула старушка.

— Мам, ты покорми человека, они с дороги...

— Что ты мне указываешь... Нетто я совсем без понятия. Пойдемте в горницу, тама у меня слободко, — ведет она нас в другую комнату.

— Мам, ну я пойду... Я приду после работы.

Войдя в большую светлую комнату и присев к столу, я ощутила, что нахожусь в тихом уютном месте, что хозяйка, по-видимому, добрый человек и мне не надо больше волноваться об устройстве. Тут же навалилась усталость — следствие бессонной ночи.

— Яишенки?.. Чайку?..

Маленькая, светлоглазая, сгорбленная, но все еще крепкая на вид Прасковья Афанасьевна, вглядывалась в мое лицо.

— Пожалуйста... Ничего не надо, только чашку чая.

— Да вы не стесняйтесь... У нас яйца не куплены, от своих кур.

По привычке бывалой путешественницы я внимательно огляделась. Необычно высокий потолок, под стать ему редкой высоты филенчатая голубая дверь и просторное светлое окно. В остальном комната не представляла ничего особенного: как у всякой домовитой старушки, пол был устлан ковриками и подстилками, в углу белела голландская печь, у стен: одна против другой, две кровати с перинами и горками подушек в пестрых ситцевых наволочках. Тут же стоял сундук, накрытый рядом.

— Никак не поймете, что за изба? — ставя на стол чайник и чашку с блюдцем, спросила хозяйка, прищуривая русалочки глаза. — Избы-то, это еще от господов остались. В их прислуга жила... Им износу никогда не будя... Бревна что новые... Сколь они стоя, кто ее знае.

Воображение нарисовало картину усадьбы с высокими потолками и окнами.

— Вы, Прасковья Афанасьевна, видно, местная уроженка?

— Тутошняя я...

И догадавшись, что меня интересует, имеет ли она отношение к усадебному быту, пояснила:

— Не-е... Дочке с семьей здесь квартиру дали. А меня тоже вот сюда переселили. А так мы из Морской деревни. Не знаете, тута, через ровки...

Напившись чая, заваренного с сушеными яблоками прямо в большом

чайнике, я решила ненадолго прилечь на приглянувшуюся кровать. И, утонув в перине, ощутив щекой прохладный ситец подушки, тотчас уснула. Мое «ненадолго» продлилось почти до вечера. Проснувшись, почувствовала себя отдохнувшей.

Вскоре пришла с работы дочь хозяйки с внучкой Катей, и мы отправились осматривать усадьбу.

Был предвечерний час. Свежие гроздья сирени опьяняюще благоухали, низко склоняясь к земле. Веяло вечерней прохладой.

Спустившись с белокаменной лестницы, мы ступили на тропинку, ведущую к поляне, покрытой майской изумрудной травой. Старое сломанное дерево причудливо возвышалось над ней, а молодая поросль доверчиво льнула к черному, мертвому стволу. Я представила, как когда-то этот дуб шелестел ветвями над пестревшей изысканными цвeтами клумбой — гордостью усадебного садовника. Вспомнилась старая фотография с видом, открывавшимся со ступенек, ведущих в сад. Бронзовый бюст Пушкина украшал поляну. Он должен был увековечить посещение поэтом Стаховичей. По семейному преданию, поэт заезжал в усадьбу в 1829 — по пути на юг. В честь этого события был также посажен дубок, ныне погибший.

Миновав поляну, мы вышли к краю берегового откоса над быстрой речкой. Глубоко в воде стояли старые развесистые ракиты, осеняя мостик. Перейдя его, мы оказались в мрачном пустынном царстве...

Зловонный поток со свинофермы изуродовал землю и все, что на ней росло. Как поверженные олимпийцами титаны, распростерлись на земле деревья-великаны, обугленные и обожженные, тщетно тянущие к небу руки-сучья. На крутом склоне холма, там, где виден был старинный дом, напоминающий замок, стояли еще два богатырских дерева похожих на пирамидальные тополя, также умирающие и как бы посылающие погибшим братьям прощальный привет...

Мрачная, незабываемая картина!

Назад возвращались в густых темно-синих сумерках. Попрощавшись на улице, спутницы мои направились домой, а я — на свою квартиру.

В окне света не было. Сенцы встретили глухой тишиной. Но, отворив филенчатую дверь в большую, по-вечернему залитую электричеством комнату, я застыла у порога: на высоком сундуке, под лампой, сторбившись, боком сидела моя старушка и, резво перебирала деревянные палочки с намотанными на их вершинки белыми нитками, то и дело перекидывая их со стороны на сторону.

Перед ней лежала скошенная по бокам круглая подушка, и по рисунку, наколотому на нее иголками с цветными шпичечками на концах, плелось тончайшее кружево!

Меня осенило: да ведь я в Пальне, почти в Ельце, прославившимся на весь мир своим кружевом. И поселилась я, по-видимому, в доме елецкой кружевницы!

— Ну, садитесь... Не видали? Поглядите маленько, я вот только счас сколок новый подставила... Допляту — и будя ужинать, — кивает она мне, не прекращая работы. — Как вы ушли, я сразу и села и не вставала ни разу.

Через неделю из артели приедут работу забирать, так я тороплюсь норму сделать...

Я тотчас села на сундук и стала наблюдать за работой. Загорелые, огрубевшие от труда, морщинистые руки с удивительной легкостью перебирали коклюшки. Вслед за их неуловимыми движениями нить переплеталась с соседней. Тут путь ей преграждала блестящая булабочка в яркой шапке. Затем коклюшки с сухим стуком заплетали нити в новую, еле различимую косичку, и та ложилась на край кружевной паутинки.

— Не попробуете?.. — пошутила старушка, взглянув лукаво и испытующе.

— С удовольствием... Но ведь я же...

— Так я покажу.

— Если б можно было просто поглядеть, а после это—го получалось бы, мы все, наверное, плели такие кружева.

— Ой ли?! — смеется она. — Из только-то народу нас осталось. Я вот... Да бабушка Маша Коновалова, напротив меня живе... Одна далёко, на Михаловке живе... Чукоткина Маруся, да Барымова Маруся, живе, где сельсовет. И Сорокина Маруся тута, в саду при совхозе. Мы все четверо тута, одна только в Михаловке, — подумав немного, подытоживает она. Счас плятут мало...

Между тем ряд дошел до конца, она добавила новую полосу с рисунком и со словами «сколок один кончится, другой надо подставлять» поднялась с сундука, освобождая место.

— Ну, садися... Счас я только один плетянечек спляту, начну.

И моментально сплела маленькую косичку.

— Вот, гляди... Четыре крайние коклюшки заходя по очереди друг за друга... Сперва второй слева ПОД низ третьего, первый — ПОД второй, третий — НА второй и НА третий две справа... Откидывай и бяри две слева... Эти две ходовые сходятся с плетянечком, одна тута становится, теперь булабочка... Вот и играй сиди!

Я храбро села на место кружевницы. И сразу поняла, что если есть в моем теле что-то лишнее, мешающее, то это руки. Я не знала, куда их деть.

Между тем старушка разобрала коклюшки и развесила их как полагается:

— Плетенек-то восемь пар... Тут три, тут три и тут две... Плетянек-то прошше: ето сюды, а ето отсюда, а ето вот так... Ну, бяри в ручки-то... — И вложила в мои одеревеневшие пальцы четыре коклюшки...

Запомнив порядок движений, я дважды правильно завела их, но на третий раз перепутала, а вскоре и окончательно сбилась.

— Ты поглядывай плетянек-то, вот и не заплутая... — терпеливо учила Прасковья Афанасьевна.

Но где там... перебирая множество коклюшек, считать их, не спутать верх и низ, да еще успевать смотреть за тем, как сплетаются нити! Я сдалась, уступив место хозяйке.

— Ну что, сробели? — снова переходя на «вы», поскольку с этого момента я вышла из разряда учениц, — сказала она, садясь к станку. — Дело-то ето, конешно, тонкое... Его еще господа придумали... Господов-то тех давно нету, незнамо с каких пор, — а дело живе. Союзы, артели сидять.

А в прошлом, не то позапрошлом годе — запамятовала я... Так вот... Приезжала из Парижа ихняя, господов-то, внучка, что ли. Молоденькая такая, лет ей будет тридцать, не боле. Повезли они ее на деревню, к Чукоткиной Марусе. Пришли к ей в избу, а она и говорит: «Бабушка, покажите мне что-нибудь из вашего рукоделия». Вот Маруся вынает из сундука кружевной воротник, подает ей — на, мол, гляди. А та-то бере его эдак бережно, разложила на ладошках, расправляе... И ну давай целовать! Бабушка, мол, милая, умница, какие же у тебя да золотые рученьки, такую красоту сотворили! И увезла тот воротник в Париж, купила, что ли, — не могу точно сказать.

Вот такую свежую быль, похожую на сказку, поведала мне в мой первый вечер в Пальне кружевница Прасковья Афанасьевна — об одной из наследниц Стаховичей, приезжавшей поклониться своей милой родине.

Следующий день был полон впечатлений. С утра я отправилась к директору госплемзавода, Анатолию Алексеевичу, в надежде, что он поможет познакомиться с его хозяйством. Оно занимало бывшие земли Стаховичей.

— Понимаете, — развел он руками, — вам надо выделять машину с шофером, а у нас утром все разъезжаются, на центральной усадьбе никого... Я бы с удовольствием сам провез вас по деревням, да минуты свободной не бывает... Из кабинета выбраться трудно.

В приемной действительно ожидала длинная очередь.

Я вышла на крыльцо, раздумывая — куда идти и что делать? Медленно схожу по ступеням... и тут за спиной хлопает дверь и раздается знакомый голос:

— Кажется, придумал! Вы сидите в коридоре, а я, как будут хоть полчаса выдаваться свободных, бегом в машину, — и так, короткими заездами, мы с вами объедем окрестности.

Так и решили. День прошел между приемной и разъездами...

В полукилометре от Пальны-Михайловского по холмистому правому берегу речки расходятся в разные стороны три проселочные дороги: на Алексеенку, Михайловское и деревню Морскую. А с развилки видны другой берег и село, отчасти застроенное новыми домами.

Это Хрущево — родина и родовое имение Пришвиных.

У самой развилки в зарослях видны полуразрушенные строения. Одно из них в два этажа, изысканностью пропорций, высотой оконных проемов указывало на свое дворянское происхождение. Полы, двери, рамы были давно выломаны, крыша разобрана, но прочные, похожие на крепостные стены устояли и теперь, никому не нужные, смотрели во все стороны пустыми провалами.

Невдалеке зарос крапивой и сиренью одноэтажный остов еще одного несчастливца, брошенного людьми. А рядом с ним старый яблоневый сад и остатки липовых и березовых аллей на спуске к реке.

Где вы, исконные владельцы и хранителя этой обетованной земли? В каких чужеземных странах нашли себе пристанище изгнанники милой и дикой родины? Суждено ли вашим побегам вырасти и расцвести в чужой сто-

роне — на корнях, так грубо, так безжалостно вырванных из материнской почвы?..

Густые заросли заступали дорогу, цепляясь ветвями за волосы, за платье. Жалила крапива. Полуобнаженные корни заставляли спотыкаться и останавливаться. Но цветущая сирень грустно качала одичавшими ветвями, как бы маня подойти поближе и хоть немного постоять рядом... И как-то не хотелось уходить отсюда.

— Вот здесь убили и сбросили под гору Стаховича, — показывает Анатолий Алексеевич на самую середину развилки...

Я с интересом выслушиваю местную версию гибели знаменитого владельца Пальны, хотя мне известна другая причина его ранней и трагической смерти. Проводник мой указывает на пересекающиеся дороги: по одной из этих серых ленточек можно попасть в село Трегубово, на могилу Михаила Стаховича.

Окрестности радовали глаз. По сторонам грунтовой дороги лежали расцвеченные молодой зеленью поля. И перед мысленным взором представляла панорама прошлого, созвучная этим пейзажам и охватившему меня элегическому настроению...

Вскоре показалось Трегубово. Оно встретило нас безлюдьем и тишиной. Церкви здесь давно не было, ее сломали после войны и мостили осколками кирпича дорогу на Елец.

— Место могилы Стаховича теперь, наверное, никто не укажет, — заметил мой проводник. — Есть три плиты от его надгробья, но их много раз перетаскивали с места на место, а где они первоначально лежали, неизвестно. Где-то возле церкви... Плиты я вам покажу, они целы — на погребке.

Что такое «на погребке», я не поняла, но переспрашивать не стала.

Миновав машинно-тракторный двор, мы: я директор, и подошедший с ключами тракторист, остановились у низкого сооружения, оказавшегося входом в подвал. Повозившись с замком, открыли дверь. Оттуда пахло холодом... Стали спускаться. Я шла последней и успела сойти на одну ступень.

— Вот... Плиты... Раз, два, три... — директор дотронулся до перекрытия над лестницей.

Над нашими головами прижались друг к другу три массивные темные плиты. Постепенно накапливаясь, падали с них на ступени капли похожие на слезы.

Идти искать могилу Михаила Стаховича не было сил...

Утомленная ожиданиями и поездками с массой ярких, часто до боли грустных впечатлений, подходила я к своему новому дому и заново приглаживалась к нему.

Бревенчатый, длинный и добротный, он стоял на высоком фундаменте, а напротив, окна в окна, проулок охранял другой дом, похожий, но пониже и хуже сохранившийся. Выстроен он был глаголем и одним торцом упирался в край старого парка, а другим смотрел на контору-дворец.

В проулке былолюдно. На скамейке, у ветхого заборчика, сидели старуш-

ки: в очках, строгая на вид мастерица-кружевница бабушка Маша, моя хозяйка со своей маленькой сухонькой старшей сестрой, живущей в нашем же доме, как потом оказалось, помнящей последнюю хозяйку поместья, и еще две соседки, которых я видела впервые.

По улице все еще гуляли куры. Время от времени одна из них пробиралась в чей-нибудь палисадник, и тогда его хозяйка нехотя поднималась и шла гнать нарушительницу. В конце проулка кого-то ждал голубой грузовик. Внимание старушек было приковано к двум юным существам с невиданно пышными бантами, в нарядах, достойных маленьких парижанок. Две пальнички, одна лет четырех, другая — шести, были одеты в платица с ажурными вставками, рукавами-крылышками и пышными юбками. Они ни минуты не стояли на месте: то вскарабкивались на крыльцо, то ловили кошку, то помогали выгонять из палисадников кур. Меня удивил их облик.

— Понравились сестрички? — спросила бабушка Маша. — Это они в гости собрались. Счас увидите... Мать выйде, та еще краше.

Действительно, через минуту-другую вышла изящная молодая женщина и, взглянув на нас громадными карими глазами, осененными ресницами-опахалами, пршествовала к машине.

— Папка, папка идет! — кинулись к вышедшему вслед за ней молодому мужчине обе девочки и повисли у него на руках.

Мужчина подошел к кабине, бережно посадил жену, подал ей обеих девочек, обошел машину и сел за руль. Ласково заурчав, грузовик тронулся с места...

Словно зачарованные, проводили мы взглядами машину...

— Ну, пойдемте в дом, — глядя в мое утомленное лицо, поднялась Прасковья Афанасьевна. — Чайку попьем, радио послушаем, потом спать ляжем... Завтра, небось, снова рано на работу?

Мы попрощались с притихшими, размечтавшимися старушками.

— В гости поехали, к его родителям, у него сегодня день рождения, — досказывает моя хозяйка, поднимаясь на крыльцо. — Это девочки-то не его. Он ее так взял... Говорит, не могу без нее — и все! Она дояркой... А он-то местный. Сперва у них никак не ладилось, она уезжала даже. Ох и убивался же он! Бабушка Маша воды святой доставала, умывала его. Он говорит, легче стало... А все равно, говорит, жить без нее не буду! Поехал, нашел ее...

Переступив порог, я увидела знакомую картину: на сундуке станок-подушка, на нем новый, других размеров и рисунка, картонный сколок и подобранные парами и тройками коклюшки. Но кружевное приспособление на сей раз имело какой-то таинственный вид, созвучный сумеречному свету.

Подойдя, я оценила новое чудо: распластавшись, на подушке лежала темная мерцающая бабочка. На концах коклюшек, свисающих с ее крыльев, нмотаны были нити черные и серебряные.

А на сундуке, посаженная на кружевной шнурок, расправив посеребренные крылья, лежала такая же, но уже законченная бабочка...

— Можно посмотреть?..

— Да, Господи, что спрашивав... — будто бы беззаботно отмахивается от

вопроса старушка, а сама незаметно следит за тем, как бережно я беру твердую, словно накрахмаленную бабочку-красавицу, раскладываю на руке, осторожно трогая крылышки...

Мое восхищение не ускользнуло от кружевницы. Слезы умиления подступили к глазам.

— Если нравится, берите... Я еще наплету.

— Да у меня деньги есть, я могу купить то, что понравится.

— А они почти ничего и не стоят... Так только плятем... Нам артель нитки дае... да чтоб не позабыть.

— Бабочки-то... — продолжила Прасковья Афанасьевна, — еще от господов остались... Господ-то наших знаете?... Все хорошие люди... Артисты сред них тоже были, вот им заместо галстухов и пляли вот такие вот... К белой рубашке ох как иде!.. Не видали?..

Нет... Сейчас я видела паленскую кружевную бабочку-галстук впервые.

— Господа-то здесь все видные, дельные были... Жалостливые. И мы их по сю пору тоже жалея.

Вот, сказывая... Давно то дело-то было. Владел здесь барин, большой человек был, умный, все мужикам думал вольную дать, а власти, мол, против. Вот раз поехал он в город Елец их освободить, в осень то было. И на дороге, на развилке-то той меж нашими деревнями, и встрень его богатые мужики — его бурмистр да прикащик. Убили его и прибрали в кусты. Сами прыг в санки, они спрятан были подальше так. Кучеру говорить: гони, мол, шибче чтоб, мы тебе пачку денег дадим, не пожалеем. Нам надо скорее в городе быть, в собрании, нас там, мол, ждут.

Кучер тот лошадей загнал, но их в собрание то привез ко времени, будто бы барин сам их прислал заместо себя.

Ну вот... Время иде, а барина нет как нет. Тогда везде искать, допытываться стали — нашли... Похоронили возле церкви в Трегубове... Потом дознаваться взялися, кто убил. Цельный год все выпытывали, и все никакого толку: стинули убивцы.

Поехали тогда его родные в Москву, наняли хорошего защитника из своих каких-то знакомых. Вот приезжая он в Елец. Ему бы погодить, когда за им лошадей из усадьбы пришлют, а у его чтой-то на душе беспокойно так, все скорее, вперед рвется...

Вот еде в ту сторону ямщик. А у его возок уж полон, некуда сажать. А защитник-то и просит, да так настоятельно...

Потом видя, что с ямщиком ничего не получается, к старушке одной старенькой пристал: тетенька, мол, я вам денег дам, что пожелаете, только уступите мне место в возке, мне очень срочно надо...

— Мне, — говорит она, — тоже скоро надо, не могу.

— Да за мной, — говорит, — вот-вот лошадей пришлют, так вы на их, мол, и доедете до места...

Подумала, подумала она: лошадей скоро пришлют, да барин денег еще дае... И согласилась.

Вот едут санки, скоро так... Вот энтот москвич-то возьми да и польсти ямщику:

— Да ты, братец, вижу я, прям мастак... Так лихо да ладно везе нас...

А тому так приятно стало, он и говорить:

— Да это что, барин... Вот в запрошлом годе об эту аккурат пору я почти от самой Пальни так гнал, так гнал... В два, считай, раза шибче, чем счас, лошадей даже загнал до смерти... Господа мне за это большие деньги тогда дали.

Тот-то возьми и догадайся, что к чему...

— А ну, — крик, — давай заворачивай назад... Еще больше получишь.

И свез его в участок. Там допросили, и он обрисовал тех мужиков, какие убивали. На том месте и храм поставили, поминать барина...

Сестра-то моя хорошо знала последних хозяек... Три сестры их было: Софья Александровна, Ольга Александровна... А третью не помню тепери.

Софья-то Алексанна на лошади ездила... Колокольчик на дуте привязан... лесорчики такие были...

Вот еде она, поля, знать, объезжая... А тут лес... Дубровки... Вот кто поиде в лес, там травки сорвать, дров нарубить... Вот она еде, колокольчик гремить, они слышать — и хоронятся. Она говорила: «Вы идите и берите что надо, но лучше, чтоб на глаза мне не попадалися...»

А то Трегубова погорела... Избы там часто-часто так стояли. И под соломоной. Вот загорелося, весь порядок выгорел. Так господа всем новые кирпичные дома поставили, счас еще стоя... Половину деревни построили. Кто у них работая, они уважали... Конюхами тут... Вот в Москву ай еще куда на скачки лошадей отправить... Вот, если выиграя, всем — и конюхам, и ветинару, был тут у нас подпоследельный очень, людей даже лечил — всем по сту рублей!.. Мужичок был конюхом у них. Так она сама крестить пошла...

Софья-то Алексанна приезжала сюда... Последний раз в сорок втором году. У них мужчина работал раньше, в Лешиной, вот туда кверху иттить... Она его тогда проведывая... А он уж старый старичок... Она спрашивае: «А сколько тебе лет?» (он ее не узнал). Он говорит: «Не знаю...». «А я знаю... Вот сколько тебе лет!»

Ох! Как отняли у них имение-то, они ходили в город, в суд, думали правду найти, что ли... Вот как идуть они, а мы глядим: пятаком двадцать али сколь там верст... Босиком... А потом уехали куда-то — и не вернулись больше. У нас тут многих хозяев разорили... Пришвиных знаете? Их имение вон рядом с нами, через речку, Хрущево... Так мужики пришли и говорить: на вас, мол, указ вышел — все отбрать и вас из дому выгнать...

Они ушли... Только они сказали: «Мы уходим в двери, а вам не пришлось бы в окна прыгать...». Они словно в воду поглядели: вскорости таким же манером мужики наш стали друг друга обирать и гнать из деревни. И нас тоже кулачили...

Третий день в Пальне я провела в доме Прасковьи Афанасьевны. Зачем и куда идти, когда земля вокруг ничья, деревни разорены, крестьяне снялись с мест и рассеялись по чужим селам и городам. Остатки деревень превратились в дачные поселки, а историю этой земли, как оказалось, можно узнать в этом старом молчаливом доме, населенном последними аборигенами, бесценными хранителями памяти.

Хотелось на прощание побродить по старому парку, и рано утром я прошла его вдоль и поперек.

И мавзолей-ротонда с портиком и куполом, лежащим на стройных колоннах — работы самого Жилиярди, и охотничий домик, почти не изменившийся, пусть даже стал он служить по пятницам и субботам общественной баней; и радующий глаз кирпичный дом с высоким мезонином, окруженный стройными елями — подавали надежду на то, что хотя бы эти части усадьбы удастся спасти и сохранить.

— Ну что, нагляделись на нашу красоту-то? — спросила моя хозяйка, увидев меня с крыльца. — А я думаю, куда это вы в такую рань? Да, спасибо догадалась, что в сад, куда ж еще?

За завтраком, подкладывая в мою тарелку жареной картошки, она поинтересовалась:

— Дубы-то наши видали?

Я стала вспоминать. Какие дубы? В старом парке много упавших деревьев, но которые из них дубы — теперь и не разобрать.

— Да нет, какое повалены... Стоят два на той стороне.

— Так ведь там пирамидальные тополя...

— Какое!.. Никакие это не тополя — дубы это... Теперь в лесе все заросло... Были дорожки, от дома книзу Пушкин стоял, его потом в реке утопили...

Один дуб, точно помню, там стоял необхватный и стал лопаться. Его железом сковали, все сберечь хотели. В газетах писали: «Спасайте деревья!» Ведь раньше под ими печки были, их подогревали. Они с юга, дубыто те, в Крымскую еще из Болгарии, что ли, привезены — и вот полтора, считай, века стоя... Да тут много хорошего было... В церковь-то не заходили?

Мавзолей-ротонду и склеп под алтарем директор успел показать мне во время одного из «набегов». Правда, стоя на паперти, ему пришлось решить несколько деловых вопросов: через дорогу были помещения свиноферм и наш «газик» не остался незамеченным. Но видно было, что интерес к старине и желание ее воскресить у него велики.

Заметив мое сожаление по поводу соседства скотных барачков с церковью, он поспешил рассказать, что мечтает возродить в Пальне исконный промысел — разведение породистых лошадей.

— Сейчас свободных денег нет, но осенью, как продадим урожай, покупаем рысаков... Мне самому здесь очень нравится, и жене, и детям. Я здесь три года, но остался бы навсегда...

Подумав, добавил:

— Постепенно свинофермы изведем и построим конюшни...

Станок-подушка у кружевницы был всегда наготове.

В последний день моего пребывания Прасковья Афанасьевна собиралась попробовать новый фасон кружевного воротника, сколки которого вручили ей как задание от артели.

— На хорошей-то подушке оно каляней становится. А ету тянешь, все булавки волокутся, — жалуется она на износившийся станок.

Но через мгновение новый сколок был приспособлен, и еще веселее, чем

вчера, защекали коклюшки...

— Есть еще вологодские кружева, они больше вырабатывая штучные.. Покрывала там, скатертя.. У них подушки не такие, как у нас, а большие. Скатертя плятутся тоже не враз, а частями. Кайма пришивается опосле, а плетется целиком, вот как вы видали у меня кружево сперва, — подушка вертится, подставляю. Тут зацеплю, тут зацеплю, — показывает она коклюшкой.

Я прошу ее показать сколки старых рисунков.

— Сколока?.. Нету. Не сохранились, — с сожалением говорит она. — Дело-то это давно было, не старались как-то сохранять. А сколь всего поплетёно!.. Теперь и не упомнить.. Кофточки я пляла, киминошки они назывались.. Шاپочки пляли.. Спятешь ее, сложишь, сошьешь.. И воротники всякие были, и шарфы, и покрывала. Негде было сберегать. Счас сколока-то вынул бы да поглядел.. Тогда все сами рисунки-то накальвали. Ох, как вспомнишь! У нас ведь тут кружевницы-то, считай, сплошь были.. Через двор..

Я еще, помню, маленькая была, но в школу уже ходи-ла. Утром в школе отучимся, потом бежим домой обедать, а после обеда снова в школу, только уж учились не по книжкам, а плести кружево.. Сидели, запякались, пляли.. Бывало, гремим-гремим.. Да батюшки дорогие мои!.. А все одно голод.. Считай, на одной траве сидели..

Семья наша большая была. Дедушка Логвин Трофимович, отец Афанасий Логвинович, мама, я, сестра Валя, другая сестра Маша, младшая Лена. Мальчики Иван и Егор.. Домик был деревянненькай, в два оконушка, земельки маленько. Мы жили в деревне Морской. Через ровки три деревушки было: Лексеевка, Михайловка, они приходу Трегубовского, а наша Морская ходила в Рогатову..

Кулачили, когда под колхоз подгоняли. Коровка была, лошадка была — не как у людей, плохенькая.. Дед не гожался земельку, он плотником. Кадушки новые сделая, кому и обручочек набьет, кому полы. Сперва обкладали налогом, задания какая-то была, надо было платить зерном. Подпослед стали обкладать молоком, яйцами, мясопоставка была. Мы все тужились, но платили.

Ну, теперича они выбрали хороших мужиков четырнадцать семей и говорят: «Кто хоче в колхоз.. Вот вам земля новая, переезжайте, сами и распорядяться будете».. Ну, мужики согласились. Отрезали им землю вот тут, за Дубровкой, к семи лесам. И они вроде собрались колхоз зачать.. Но тут-то начали всех под колхоз подгонять, и дело это у них распалось..

Потом, каких выбирали, их в колхоз не приняли и начали кулачить. Потом беднота стала указывать: вот, мол, они жили, у нас хлеба нет, а у их хлеб, — и всех этих хороших мужиков осудили по три года и увезли в Тулу, в тюрьму. И отца моего, и дедушку.. Других сослали.. Дедушка так там и умер.

Когда отца забирали, мы сразу же нищие сделались, унесли у нас тогда из дому все, до последней нитки.. Тканьё, платьишки маминь.. И наутро стали продавать в сельсовете. Юкариха, соседка, купила мамину юбку и кофту, нарядилась, подбегае: «Гаврильевна, ты, небось, на меня обижаешься?..» А мама так-то спокойно да ласково ей отвечает: «Что ты?.. Разве ты отбирала?.. Я себе еще соображу».

Помню, я тогда уж заневестилась.. Только справила первый раз себе пол-

коленочку дубленую, один только раз и сходила в ней в церковь... Пришла, повесила вот так-то вот на гвоздик к печке... Они пришли, сняли... Я побегла за ими, не догоню никак... Упала прям в снег... Еле меня тогда отходили...

Так больше на ноги и не встали, беда одолела... Разорили совсем...

Вот пришли ригу разорять, подогнали двух лошадок, вынесли мешки, погрузили, весь сбор увезли. Нас из дому выгнали. Мы давай брату в армию писать, так, мол, и так, совсем пропадая... Он пошел в свой штаб с тем письмом, мол, семью ссылають. Оттуда прислали уполномоченного:

— Вы Анастасия Гавриловна?

— Я (не могу, даже сейчас слезы прошибая...).

— Знаете что, бабушка... Сыну своему вы такие письма не пишете... Никто вас больше не обидит.

— Но отца-то их, — показывает она на нас, — увезли отсюда — и след простыл?..

— Придет, — будете тут жить...

А он пришел — и умер... Большой весь... Тут голод был страшный...

Раньше у нас старенький был домок. Потом ребята работать пошли в совхоз, подзаработали, им дали напилить дубов, старый домок разорили, сруб небольшой на этом месте поставили. Не дуже много пожили, потом етот переворот-то и пошел...

Ну вот... Нас выгнали, в нашем доме поселился сельсовет. Сперва нас приняла соседка, у ней дом был кирпичный, она одна жила с девками. Потом снова пошли мыкаться: семья большая, дети... Тут поживем — не нужны... Потом нас пустила одна семья, они с дедом тут в совхозе жили. Тут сельсовет из нашего дома ушел в школу, но нас домой не пустили. Сперва туда зерно ссыпали, потом, в войну уже, под рамки, улы... А мы глядим: дом растаскивають, ломають — что делать?..

Вот однажды идуть по деревне агент по деньгам и специалист. А у меня одна сестра была глухонемая. Мы говорим ей. «Пойди, поклонись начальству...» Она подошла, ручку им подала, потом упала на колени. Они ее стали подымать, начальник говорит: «Идите, идите... Переходите...»

Мы переехали к себе, подправили дом, печку переложили. Двора нету... Подвал, правда, остался. Ну, живем... Председатель поехал жаловаться: у нас, мол, дом раскулаченный есть, они вернулись, живут...

Сперва суд сюда выехал, тут присудили в нашу пользу. Тогда он подал на пересуд в район — присудили в пользу сельсовета.

И снова нас из своего дома гонють... Народ набежал, жалея...

Вот иде председатель с Алексеевки по Морской, сосед Петр Андрияныч, учитель, остановил его и говорит: «Погоди... Как тебе не стыдно, кого ты из дому выгоняешь?.. Бабку старую, девчонку и глухонемую?..»

Он говорить: «Я их совсем не выгоняю, я им холодную горницу оставляю».

Вскорости другого председателя поставили, Василь Палыч либо Мишуков... Он не согласился в наш домок, под сельсовет купил дом рядом, говорит: спишите ентот и поминать нечего... Ну, и мы ему благодарность всегда говорим.

Двенадцать лет семьей по деревне своей, по избам чужим мыкали...

Прощальный вечер в Пальне был тих и спокоен. Не зажигая света, мы с Прасковьей Афанасьевной сидели за столиком у окна. Только что ушли ее внуки, развлекавшие и занимавшие нас, — и настала деревенская неповторимая тишина...

Скоро посреди стола установится на подставке сковорода с пыхтящей еще, пышной, высокой словно пирог, яичницей-глазуньей... Она — тоже секрет местного кулинарного искусства, как все народно-русское, дорогой сердцу. Спокойно и уверенно хозяйка хлопочет у плиты. Она и здесь — мастерица.

Вот на огонь ставится сковорода. Обязательно чугунная! Дно густо смазывается жиром, присыпается солью. Пока сковорода калится, в кружку вбиваются яйца, затем выливается на раскаленную сковороду и моментально накрываемую крышкой...

Пострелявшая с полминуты яичница снимается с огня и сразу — на стол. Она готова. Но мы еще какое-то время сидим, слушая музыку горячей баталии, доносящуюся из-под крышки. Оттуда раздаются звуки, напоминающие пулевую пальбу...

Когда все стихает, со сковородки на тебя пыжится запеченными глазами настоящий яичный пирог. О них здесь говорят: «пирог с глазами. Их едят, а они глядят».

Уезжать из Пальны не хотелось...

С Прасковьей Афанасьевной мы так скоро сошлись и даже подружились. Она доверчиво, словно перебирая страницы, прочитала мне историю горькой, трагичной жизни — жизни русской крестьянки.

Понимая, что завтра, может быть, навсегда оставляю этот гостеприимный дом, вновь и вновь останавливала взгляд на ее добром лице, огрубевших руках, простом стареньком платье... Даже незамысловатые иконки, развешенные в ряд на стене, стали удивительно дороги... Они висели прямо передо мной, и по вечерам, лежа в постели, я разглядывала строгие лики. Многие могли бы они рассказать об ушедшей жизни, и тогда мой рассказ был бы, вероятно, красочнее. В самом деле, жить несколько дней рядом с глубоко верующим человеком, надоедать ему расспросами о всякой всячине, и не догадаться вызвать на разговор о самом сокровенном. Но, еще остался в запасе заветный час.

— У меня-то иконочки бедноваты, — вздохнула она. — Была б церковь целая, я бы вас свела туда и показала, какие там иконы были: красивые, блестящие, разукрашенные... Одна икона, на ей Иисус Христос распятый... Одни взяли и на потолок побросали... А есть не считались, прямо рубят — и в печку... Счас словно сироты мы при живых родителях, некому пойти пожалиться, поплакаться, совета испросить... А раньше-то... Каждый знал, что ЕМУ есть дело до любого...

— А там-то, где барина старого убили, — произнесла она, немного подумав, — там ведь храм был... Господа тогда хорошую, громадную церковь поставили, с куполами, крестами, — поминать его... Ох!.. И кому мешали?... Поп служит, дяк ему помогав, титер с тарелкой ходя. И не только храм, при

господах там приют был. Дети, у которых матеря умерли... Но мы туда не ходили, наша Морская прихода была другого, когда жили единолично. Мужики под большие праздники ездили Богу молилися, а женщины дома готовили... Та-то церковь и счас цела...

Я поспешила осмотреть достопримечательности, не расспросив предвзвременно стариков, — и теперь сожалела об этом...

А старушка, почувствовав мое расположение и интерес, в начале осторожно, а затем смелее повела рассказ о чудесах.

— Вы не ведаете, что это у нас тут такое было?... Раз бабы мне рассказывая... Вот образовалось в поле вот как люстра, и люстра эта горит огнем. Долго она была, потом изошла — нету! После этого сред поля образовалась вода, ключ бье... Расчистили то место, колодец чтоб был, и ходили туда все, даже монашки... Власти глядеть... Послали туда трактор, штоб завалить, а вода все никак не пропаде... Народ снова расчистил, голубчик так над ней исделали. Мыться туда ходили, кружечки там стояли, напьются... Откуда — Господь знае...

Я внимательно слушаю. Она, удивленная моей поддержкой, смелее и вспоминает еще одну бль...

— А вот возле деревни Хрипуново в лесочке давно еще объявился тоже колодец, и счас туда едут на машинах, и там в праздники Бог знае што... Приезжают, раздеваются, женщины платья сывая, вешая на кусты — и никто не бере... Искупаются — вроде как облегчение. А некоторые глядеть-глядеть в колодец и видя: там ктой-то похожий на Исуа Христа... Може, они дже верующие, им и покажется... А мы теперь все грешные.

А я гляжу — не нагляжусь на старушку, слушаю — не наслушаюсь ее речей, и думаю, что только наша суровая земля может выносить, взрастить и воспитать такое обаятельное и непосредственное создание: простое и бесхитростное — до святости; разумное — до мудрости; изобретательное — до степени высокого мастерства... Трудолюбивое и бескорыстное и, несомненно, достойное лучшей доли.

Вместо эпилога:

Уважаемая Людмила Николаевна.

На днях получила от мужа и прочла залпом Ваши удивительные записки о посещении Пальны прошлой весной. Вы нас этими записками изрядно обрадовали, одарили и как бы вновь «поставили на ноги». Ниже объясню, что этим хочу сказать, а сейчас хочу поблагодарить Вас горячо-горячо за труд и утомление, за вдумчивость, понимание и любовь к тому, что нам так бесконечно дорого.

Я не знала, что Вы так талантливо пишете! Когда Владимир Дмитриевич мне говорил о том, что Вы провели неделю в Пальне и о Ваших за это время достижениях, то я им очень обрадовалась, но не ожидала, что будут записки и что мне надо будет их прочесть. А затем — одна радость за другой: Вы смогли бродить по парку, ходить в избы к крестьянам, жить у кружевницы... все то, о чем мечтала я, но что дано мне было осуществить лишь через Вас и Ваши записки. Вы видели те дома, те стены, что построены были нашими предками, и подолгу беседовали с теми, об искусстве которых нам часто в детстве рассказывала наша бабушка!..

Знаете, что тоже удивительно? В своей молитве о паленцах я, чтоб не была эта молитва слишком безликой, абстрактной, решила молить Бога о какой-нибудь Марии. Он сам знает, какой в Пальне Марии особо нужна молитва. А Вы, когда перечисляете ныне здравствующих паленских кружевниц, хоть хозяйка Ваша — Прасковья, но называете подряд четырех Марий! Я прямо глазам своим не верила. Конечно, «Мария» — самое распространенное в России имя, и я потому отчасти его и выбрала, но все же Ваши строки о кружевницах Марусях мне показались прямым ответом на мое молье Господу о милости к паленцам и «паленской Марии».

Есть строки, над которыми проливала слезы радости: «Господа-то здесь все видные, дельные были... жалостливые... и мы их по сю пору тоже жалеем...»

По сю пору! Два века прошло, а память еще есть!.. Увы, камердинер Алексея Александровича, чудный Яша, фото которого у меня есть, умер несколько лет назад. Его мы не застали. А вот драгоценные слова Прасковьи Афанасьевны благодаря Вам до нас дошли и за все годы изгнания, лишения родины утешили.

А ведь как сказано! «Видные, дельные, жалостливые...» Тремя словами как наших определила! Или это Вы так сжато передали? Жалостливые. Какое чудное слово! Вот сейчас ко мне придет моя бывшая студентка — я ей в свое время объясняла характерную черту русских: сострадание, жалость и значение глагола «жалеть» в устах народных. Вот и пример из Ваших записок; особо дорогие для меня слова.

Очень волнительно знать, что был храм, построенный в память Мих. Ал. Ст. и что он, увы, был разрушен. Он, значит, верно и был тот «домовый храм», о котором нам говорил отец? Знаете ли Вы случайно, когда именно был разрушен храм и когда был его престольный праздник? В счетах имени Алексея Ал. упоминается приезд священника в праздничный обед в день Михаила Архангела 8/21-го ноября. Но в каком же из храмов была служба? Я не говорю о Трегубовском храме, который тоже был разрушен. Это еще другое дело.

Я сама была с мужем в Пальне в июне месяце Всего один день). Однако только из Ваших записок узнала о том, что Алтунин думает вновь завести конный завод!! Вот радость-то! Слава Богу. Тут мы даже распечатали бутылку шампанского. Дай Бог, чтоб благое намерение осуществилось. Ведь сколько будет препятствий! Мне самой эта мысль приходила в голову, но я не смела на этой мечте останавливаться.

Вот видите, Людмила Николаевна, милая, сколько радости Вы внесли в нашу жизнь. Благодарности нет конца. Спаси Вас Бог, дорогая Людмила Николаевна, будьте здоровы и бодры. Кланяйтесь милому Владимиру Дмитриевичу от меня.

Ваша

Мария Александр. Стахович.

Париж, 23 ноября 1991 г.



ОЛЬГА СОКОВА

РОБИНЗОН ДУХА

воспоминания об отце

Роговой Будимир Самуилович. Родился в Слуцке 6 апреля 1928 года. Во время войны находился в эвакуации. После войны, в 1954 году окончил экстерном факультет иностранных языков Орловского государственного педагогического института, в марте 1973 года получил степень кандидата филологических наук. Работал в орловском институте «Гипронисельпром» переводчиком. Умер 7 октября 2013 г.

Когда захожу в комнату папы несмотря на то, что его уже нет, ощущаю спокойствие. Со времён нашего общения, длиной в его полжизни и во всю мою, в ней почти всё осталось на своих местах. Стеллажи с редкими книгами, толстые папки с записями, не желающие мириться с узким пространством полок, люстра в форме летающей тарелки, символизирующая научную мысль и настенный коврик с изображением большой птицы, стремящейся вдаль, к неизвестным горам. Здесь мой отец писал свои статьи, зачитывал вслух произведения всемирно известных авторов, написанные на английском, немецком или французском языках и сравнивал их с, не всегда хорошими, переводами. Комната, похожая на монастырскую келью, пронизанная духом сосредоточения... В этой «келье» он обучал меня английскому, не утомительно и, в то же время, профессионально. И однажды, во время занятий, я обнаружила удивительную вещь: суета, проникшая пылью в щели измученной души, исчезает. Остаётся чувство благодати от родительского внимания — то, что доступно большинству детей и редко кому из взрослых.

«Когда я был старшеклассником, моё сочинение так понравилось, что его даже читали по радио», — вспомнил как-то папа. Окончив Ленинградскую аспирантуру, он вместе с женой намеревался остаться в Ленинграде или в Москве. Но жить на квартире было тяжело, и в конце 60-х пришлось вернуться в Орёл. Потом появилась я. Увы, через несколько лет, моя мама — красавица, покоровившая будущего мужа улыбкой, умерла. Но папа не пал духом: читал Кришнамурти, занимался йогой, слушал классическую музыку

ку. Он оставил проблемы языкознания. Его начали привлекать психологические, психиатрические и литературные темы. Было написано около двадцати пяти статей. Ряд российских и зарубежных учёных, писателей, в их числе известный философ, культуролог, публицист Григорий Померанц, серьёзно отнеслись к этим работам. Между ними шла тёплая, дружеская переписка, с дискуссиями по психологии, философии и литературе.

Отчего же, человек, написавший столько статей, могущий переводить с шестнадцати языков, свободно читать на трёх, привыкший думать и записывать всё на английском, много лет прожил в Орле, жалуясь на недостаток научной литературы и контактов? Подавляющее большинство его трудов не были опубликованы. Дело ли в отношении к ним, в скромности автора, или в его принципиальном настрое публиковаться только в самых серьёзных научных изданиях?

Сидя в провинции, не имея достаточно денег для того, чтобы не только ездить работать за границу, но и нормально питаться, папа в 1993 году уехал в Израиль. Но через полгода вернулся.

Он мечтал о каком-то научном рае, где все учёные мира, да и не только учёные — все люди смогут взаимодействовать без препятствий. Поэтому за три дня, купив обучающей литературы, самостоятельно научился работать в интернете, что для пожилого человека нелегко.

Папа радовался, когда ко мне на какой-либо праздник приходили друзья, подсаживался с книгой в руках. Беседы часто напоминали лекции. Играла роль начитанность, эрудиция, умение систематично и в доступной форме подать материал, эмоциональная увлечённость обсуждаемыми вопросами. Друзья слушали с уважением, иногда записывали. Многие замечали его внимание, искренний интерес к людям. «Кинул пристальный, быстрый взгляд, будто прошуupal гостя, не меркантильно, а с чисто человеческим любопытством быстро распознал, раскусил», — отмечал один из моих друзей. Как-то, в конце девяностых, поговорив около десяти минут с моим новым знакомым, папа, обычно мягкий и тихий, решительно выпроводил его из дома. Тот оказался антисемитом. А в другой раз папа заметил ночующего четвёртые сутки на остановке бомжа, которого все избегали. Побеседовал с ним и выяснил: бедолагу за нарушение распорядка выдворили из приюта. Позволил туда. И, благодаря его звонку, несчастного приняли обратно.

Я вела дневник наших разговоров, многие высказывания отразились на моём мировоззрении и творчестве. «Жизнь — это средство для реализации ценностей». «Если есть один полюс, обязательно надо учитывать и другой», «Во всём плохом есть что-то хорошее».

«Я — космический оптимист», — однажды парадоксально высказался он про себя, после нескольких пессимистичных монологов. Имелось ввиду внутреннее глубинное отношение к миру. Действительно, бывало, что общение с ним выводило меня из состояния безнадёжности и уныния, притом, не раз он каким-то чутьём утром угадывал, что волновало меня вечером и ночью, и находил нестандартный выход из безвыходной ситуации. «Главное в избавлении от обид не методы, а отношение к жизни. Мы не можем познать полностью смысл происшедших событий. Но можно увидеть в любом

явлении красоту. Если её считать объективным явлением — этого достаточно, чтобы найти смысл в негативе». «С одной стороны, во всём есть смысл, с другой стороны, мир надо улучшать. В России люди учатся любить себя по контрасту, от противного».

Особенно меня привлекали разговоры о литературе и искусстве. У папы была особенность выискивать во всём важное, главное. «Камю «Посторонний» — французский подход к проблеме агрессии, «Степной волк» Гессе — немецкий...» Я: «А русский?» «Русский? — это Достоевский». Когда же он знакомился с моим творчеством, подходил к нему без поблажек. Иногда мне приходилось отстаивать свою творческую правоту. «Критическое мышление — одно из самых ценных моих свойств, иначе, как бы я писал научные статьи?», — парировал домашний редактор. И вдруг я обнаруживала, что его критика приобретает положительную окраску, становится для меня поддержкой. Он отмечал наиболее интересные стихи или сказки и писал, почему они понравились, получались небольшие рецензии. После посещения выставки моих картин, сказал: «Мне больше всего понравился дух свободы, свободные движения растений, их рост. И в шаржах это выражается, в линиях».

А ещё он писал стихи. В них присутствовала романтичность, ощущение тайны, желание прочувствовать, понять человека:

Глаза опущены при встрече,
Но так прозрачны льдинки слов.
Сквозь них проглядывают веще
Узоры пламенных миров.

Струна, звенящая от света,
Каким добром ни городись,
Ты вся открыта зову ветра,
Ты вся мелодия и жизнь.

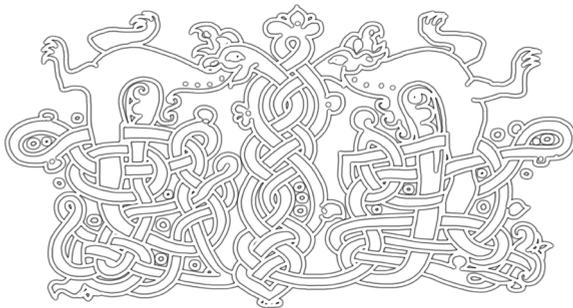
А что такое жизни тайна —
Безмолвной вечности печать?
На зов мгновенный и случайный
Звучаньем полным отвечать.

Прекрасна жизнь. Душа томится.
Грустит закат. Цветёт восход.
Вот кто-то в дом твой постучится
И руку трепетно возьмёт.

22-24.04.1982г.

Вспоминаю: собака Барбос обнимает папу за ноги, не даёт пройти. «Это он от любви», — говорит «пострадавший» и я, уже было решившая наказать пса, отступаю. «Мы с тобой очень друг другу подходим, ты обращаешь внимание на мелочи, а я мыслю глобально» — сказал как-то мой самый близкий собеседник, услышав мою мысль о противоположности наших характеров. И вправду, он мог оттолкнуться от какой-то мелочи и дойти до мысли о спасении человечества. Затворник, словно взаперти, сидевший в своей ком-

нате с закрытыми шторами, городе, стране. Может быть, так до конца и не понявший, не раскрывший себя и, в тоже время, обладавший внутренней независимостью и свободой от суетливого мира... Папа — в 80 с лишним лет, на старой кухоньке, в неугасающей надежде взмахивающий руками, как крылами — вдохновенный, цельный по своим взглядам, систематичный, сосредоточенный. И всё же, мне сдаётся, противоречивый в глубине души, человек. Учёный — отшельник, Робинзон духа.



Эта статья, написанная для «Литературной газеты», была найдена в семейном архиве спустя пятнадцать лет после смерти Николая Перовского и через десять лет после ухода из жизни ее автора. Статья не была опубликована. В ней дается точный и глубокий анализ стихотворений Перовского, раскрывающий особенности его мировосприятия.

БУДИМИР РОГОВОЙ

О САМОМ ГЛАВНОМ

новые стихи Николая Перовского

Я воспринимаю поэзию избирательно. Для меня лучшие стихи это те, которые поэтически отвечают на самые главные вопросы о смысле жизни, о красоте, о добре. Вопросы, над которыми ломали голову лучшие умы человечества — от Сократа до Льва Толстого и на которые они далеко не всегда могли ответить так, чтобы это удовлетворяло современного человека.

Аксиологические и этические искания должны продолжаться. В условиях, когда наши философы, за редкими исключениями, недостаточно активны в этом направлении, велика роль советской поэзии, замечательным представителем которой является Николай Перовский.

А теперь перейду непосредственно к стихам.

Поскольку стихи Перовского печатались преимущественно в провинциальных издательствах малыми тиражами, для большинства читателей это имя совершенно неизвестно. Поэтому имеет смысл привести целиком стихотворение из его последней книги, которое можно считать программным.

ПРОЗРЕНИЕ

Бывает острое прозрение,
как взрыв в мозгу, что ты — живой!
Что ненависть, любовь, горенье
в тебе, с тобой и над тобой.

Ты только вскрикни, хлопни дверью
или засмейся — просто, вдруг,
как люди, ветер и деревья
тебя затянут в общий круг.

В тот милый круг, где всё живое,
Где наслаждение и боль,
Где правят общею судьбою
горенье, ненависть, любовь.

Мы в общем хоре — все солисты!
И даже тот, кто безголос,
в своём, особенном регистре
доносит шёпот свой до звёзд!

О чём это стихотворение? Ну, конечно же, о смысле жизни. Поэт передаёт ощущение ценности эмоциональной жизни человека с помощью традиционной метафоры высоты. «Ненависть, любовь, горенье» «над тобой», шёпот «доносится до звёзд».

Это видение мира, как ценности и красоты, не ограничивается сферой, которая тысячелетиями считается «прекрасной» по контрасту с другой — «непрекрасной». Современное искусство показало, что «непрекрасное» тоже может стать прекрасным, если посмотреть на него с полным вниманием, отрешившись от стандартов восприятия и оценок (ограничусь ссылкой на Бодлера, Пикассо, Модильяни).

Всякая жизнь прекрасна — говорит поэт. Даже для «того, кто безголос» жизнь является ценностью.

Ценность личности воспринимается поэтом не только непосредственно как субъективно, а также через её объективацию. «Ненависть, любовь, горенье в тебе» (субъективны), «с тобой» (объективированы) и «над тобой» (обладают ценностью).

Человек — существо смертное, щепочка в океане времени. Но каждый момент его жизни является неотъемлемой составной частью бесконечного мира. Бесконечность не только вне нас, она и внутри нас, она существует объективно и тысячами нитей связывает нас с внешним миром.

Мир един и всё в нём взаимосвязано. Представление об объективной ценности жизни не противоречит научному мировоззрению.

В стихах Николая Перовского много вопросов («вечных вопросов») и сомнений: Кто я и что я, зачем я родился на свет?

Что движет миром —
дух или потреба?
Дым красоты?
Затмения ума?
...
За то, что мир мне непонятен
и непонятным будет впредь,
и что на солнце столько пятен,
а я не в силах их стереть...

Восприятие жизни во всей её полноте как объективной ценности даёт ответ на «вечные вопросы» о смысле жизни — ответ на том уровне, который достигнут современным человечеством. Это ответ не только и не столько философский, сколько эстетический.

К одному из лучших стихотворений сборника «В пути» автор избрал эпиграф А.Блока:

Сотри случайные черты
и ты увидишь — мир прекрасен!

Николай Перовский следует и помогает читателю следовать этому заве-

ту. Такое мировосприятие изменяет отношение к страданиям и смерти. Ко всему отрицательному в жизни поэт относится с полным вниманием, без чрезмерного и преждевременного избегания:

Что свет без тьмы
и что без света тьма...

...
Под лучом ледящей звезды
между сёлами и городами
августовские дремлют сады,
провисая тугими плодами.

Но это вовсе не означает пассивности, «непротивления злу». Напротив, эстетическое восприятие своей эмоциональной жизни и внешнего мира освобождает энергию и в то же время придаёт активности уравновешенность. Смещение психологического центра тяжести приводит к уменьшению эгоистической привязанности к результатам действия, хотя сами эти результаты, воспринимаемые как объективная ценность, сохраняют должное место:

Жить! Ради слова, ради дела,
как будто каждый друг и брат!
Душа проснулась и взлетела —
полёт не требует наград...

...
Пока лопух цветёт в канаве,
пока звезда, мерцая, манит,
тропа к бесславию и славе
не одурманит, не одурманит.

Может быть, самое важное: Восприятие жизни как объективной ценности разрушает барьер индивидуализма. Жизнь других людей (и шире — всех живых существ) также воспринимается как осмысленная и ценная.

Этот переход от личного к межличностному и общежизненному необычайно точно выражен Перовским в стихотворении «Прозрение». Человек вступает в «общий хор», оставаясь при этом неповторимым и незаменимым «солистом»; вступает в «милый круг» всех живых существ.

Не обязательно для такого перехода необходимы какие—то особые общественные условия и личные переживания. Любое личное переживание и действие, самое простое и обыденное, если оно воспринимается как объективная ценность («со смирением», как сказал бы Лев Толстой), может стать звеном, объединяющим человека с другими людьми, со всем миром:

Земля и небо стёрты листопадом —
сплошная сеть вселенского родства!

...
Отдёрни тяжёлые шторы,
да окна во двор отвори.
Что нового в мире, в котором
так ярко горят фонари?

...

Над чем так смеются и плачут,
 Судачат и спорят о чём,
 какие решают задачи,
 плечо подпирая плечом?

Полное внимание — это внимание к себе и к миру, к истории и современности:

А может так:
 любая частность,
 из той дошедшая дали, —
 моя судьба,
 моя причастность
 к судьбе страны,
 К судьбе земли...

Отсюда, естественно, рождаются строки, исполненные высокого патриотизма:

И пусть дворец Екатерины
 лежит, как древний Парфенон,
 его разверстые руины —
 не сладкий сон в тени колонн.
 Ну, нет! Россия не Эллада,
 здесь не музей, здесь вечный фронт.
 Она уходит из—под взгляда
 за тридесятый горизонт.

Стихи поэта несут в себе заряд энергии, побуждают читателя задуматься о гражданской ответственности, о том, что он может сделать для других людей, для своей Родины.

В настоящей статье автор хотел, прежде всего, показать философскую цельность мировосприятия Перовского, элементы которого взаимосвязаны и вытекают один из другого.

Минимум необходимого в этом плане был сказано выше, но точку ставить не хочется. Трудно оторваться от высоких горизонтов и освежающей силы этих стихов, хочется цитировать их снова и снова.

Ещё несколько выдержек:
 Чистилище и свалка
 у бездны на краю, —
 чего же так нам жалко
 в потерянном раю?
 («Ялта»)

...
 Ты мне чужда.
 Ты мне близка.
 Ты, словно пуля у виска,
 грозишь удачей.

...
 И приснилась мне ты — моё чудо—
 то, которое я обронил...
 ...Обронил, и оно расколосось,
 разбежалось на тысячи брызг,

и остался мне мартовский голос,
и остался июльский каприз.
(«Имя»)

...

В комнате девушки я проглотил свой проклятый язык,
плыл и тонул на кушетке между Тверским и Арбатом.
Свет был погашен, и на небе не было туч,
время смешалось, в созвучьях запутались строки...
(«В Мерзляковском переулке»)

...

Гляди! Пушистый жеребёнок
точёной ножкой травы бьёт,
Почти духовный, как ребёнок,
почти абстрактный, как полёт.

На переломе и на стыке,
на тонкой дужке коромысла
струится космос безъязыкий
времен и судеб тайный смысл.
И, может, высшая минута
тебе даётся для того,
чтоб лишь коснуться абсолюта,
а не ослепнуть от него...

Вряд ли имеет смысл по поводу этих великолепных строк анализировать понятие абсолюта и правомерность его использования в поэзии, если не в философии. Во всяком случае, такому анализу место не в краткой рецензии.

Красота цементирует единство поэтического мира Перовского, связывает человека с бесконечностью космоса.

Стихи его отличают эмоциональная свежесть, острое ощущение «единства противоположностей» материального и духовного мира, высокое поэтическое мастерство. (Обратите внимание, например, на ненавязчивое совершенство звуковой структуры в отрывке из стихотворения «Имя»)

Стихотворения «Имя» и «В Мерзляковском переулке» поражают глубиной проникновения в психологию любви, «самой таинственной человеческой эмоции». Распадаются привычные психологические ассоциации, возникают новые, фантастически прекрасные связи человека и мира. Этим двум лирическим шедеврам, вероятно, суждена долгая жизнь.

Мы обратили преимущественное внимание на философский аспект творчества Перовского. Другие читатели, может быть, лучше оценят и любят другие его стороны: как всякое подлинное искусство, стихи Перовского многогранны и неоднозначны.

Композиция сборника «В пути», к сожалению, не уравновешена: соседствуют стихи из разных периодов творчества поэта, стихи неравноценные и плохо гармонирующие друг с другом.

Это вина издательства, заставившего автора исключить и заменить одни стихотворения, внести неоправданные изменения в другие.

Хочется пожелать, чтобы лучше стихи Николая Перовского были изданы достаточным тиражом и без каких-либо искажений.

НИКОЛАЙ ПЕРОВСКИЙ

Стихи

СВОБОДА

Свобода так похожа на фантом:
проявится, продлится, исчезает, —
так мощная река, покрывшись льдом,
струится и до дна не промерзает.

Элементарно, Ватсон, жизнь — игра,
а в прикупе свобода — Божья карта —
пригоршня зла под горсточкой добра,
ты сам — и демиург, и раб азарта.

Мираж удач в пустыне неудач,
граница, как всегда, на зыбкой кромке,
а, впрочем, ты свободен, как циркач,
ходить по струнке или рвать постромки.

От жажды не спасёт один глоток,
и всё-таки не так уж это плохо,
когда свободы аленький цветок
окажется цветком чертополоха.

По небу журавли летят, трубя,
у них в крови чужие несвободы,
на свете нет свободы от себя,
а значит, никакой иной свободы...

ГЕОМЕТРИЯ ЖИЗНИ

Е. Лебкову

От рожденья ни злы, ни добры,
мы считаем вселенной квартиру,
в ослеплении детской игры
колесим по касательной к миру.

Равновесие школьной шкалы —
голубые законы Евклида:
там углы никогда не круглы,
там прямые строжайшего вида.

Эти истины, взятые впрок,
помогают в дорогу собраться,
но едва переступишь порог,
хоть аukaiся в зарослях братства...

То прямые приводят к врагу,
то кривые уводят от друга:
караулит на каждом шагу
квадратура житейского круга.

Как надорваны плечи! Несёшь
жизнь и смерть на одном коромысле.
если душу не вытравит ложь,
упадёшь под секирою мысли.

Что-то гонит и гонит — спеши
на призывный мираж постоянства.
Выправляй прямою души
кривизну мирового пространства!..

ИГРА

Когда домовито, но грозно
о кругу окатывал гром,
казалось, что это серьёзно,
что кончится дело добром.

Сосед улыбнулся соседу,
забыв о недавней вражде,
завёл одуванчик беседу
с ромашкой о тёплом дожде.

А он понакрапывал, дождик,
и всё улеглось в высоте,
как будто ленивый художник
опробовал краски не те.

В конце поднебесной забавы
поставила точку звезда,
чтоб люди, луга и дубравы
свой взор возносили туда...

МУРАВЕЙ

Ю. Чубукову

Безымянный пассажир на верхней полке,
я вписался и втянулся в общий круг
и мотался, словно нитка на иголке,
под вагонный перегонный перестук.

Понимая, что сиротство не в награду,
был я каждому и всякому родня,
прилепился к человеческому стаду
так, что не было отдельного меня.

Дни и годы нарастают не в нагрузку,
если с детства ты сдаёшь себя внаём,
и, с поправкой на усушку да утруску,
оставался я вселенским муравьём.

Я летел на дух полыни и гудрона,
беспородный и безродный до седин,
чтобы вдруг среди галдящего перрона
спохватиться и увидеть — я один...

КОРНИ

Был я болен и тем виноват
перед миром людей и растений,
но однажды ушёл я в закат
проводить удлинённые тени.

Я присел у слепого костра,
согревая озябшие руки,
и осенняя ночь, как сестра,
обняла меня после разлуки.

А когда от земного огня
глянул на небо в звёздных накрапах,
я почувствовал, как зеленыя
источают младенческий запах.

Я не думал, откуда взялась
и с такой прямою воплотилась
неподсудная разуму власть —
обращать наказание в милость.

Я стоял, не стыдясь своих слёз,
между звёздами и зелеными,
и меня не тревожил вопрос,
что считать в этом мире корнями...

ГРАЦИИ

Лиде

В подлунном мире правят грации,
природа — мера всех вещей,
мы лишь придумали градации
мелодий, красок и страстей.

Мы в жизни только тем и заняты,
а тополь, листьями шурша,
поёт, не зная нотной грамоты, —
поёт древесная душа.

Волна размеренным гекзаметром
рождает длительность и ритм,
гроза из тучи, павшей замертво,
спектральной радугой горит.

И, соревнуясь с маттиолами,
жасмин струит свой аромат, —
так бессловесными глаголами
цветы, озвученные пчёлами,
между собою говорят.

НАРАСХВАТ

Вл. Молчанову

Попутчики внушают мне доверье,
но я его ищу на стороне:
все травы, все цветы и все деревья
цветут и разрастаются во мне.

Всё нарасхват — мосты и виадуки,
и если миром правит красота,
то вот она, в полуденной излучке,
под радугой висячего моста.

В тени ракит разбросанное стадо,
и белые головки пастушат,
и краткий, из-под липы палисада,
призывный и лукавый женский взгляд.

... На мне песок и голубая глина,
я на телят бзикающих кричу,
с крутого самодельного трамплина,
раскинув руки, ласточкой лечу.

Соседи пьют и падают на стыках,
и я подозреваю иногда,
что время и само не вяжет лыка,
летит из ниоткуда в никуда...

НАШИ АВТОРЫ

Иеродьякон НАФАНАИЛ (Бобылев Борис Геннадьевич) — филолог, кандидат филологических, доктор педагогических наук. Родился в 1950 году в Хабаровске. Закончил филологический факультет Алма-Атинского университета и Белгородскую духовную семинарию. Автор более 200 научных трудов, значительная часть которых посвящена филологическому анализу художественного текста. Член редколлегии журнала «Русский язык в школе». С 1992 года жил в Орле, долгое время заведовал кафедрой русского языка и педагогики Орловского тех. университета. В настоящее время иеродьякон Новосильского Свято-Духова монастыря.

БОЙЦОВА Анастасия Анзоровна — поэт, член Союза писателей России. Родилась в 1970 году в Орле, где проживает по настоящее время. Училась на филологическом факультете Орловского университета. Автор ряда поэтических сборников, публиковалась в литературных журналах и альманахах «Орёл литературный», «Новый енисейский литератор», «XXI век» и др.

БУШУНОВ Антон Юрьевич — поэт. Родился в 1980 году в Орле. Получил филологическое образование в Орловском государственном университете. Сотрудник и экскурсовод Музея И. С. Тургенева (Орел), актёр народного театра «Ювента». Автор ряда поэтических сборников, неоднократный участник форума молодых писателей России и СНГ («Липки»), стипендиат министерства культуры РФ 2014 г.

ВЕЩУНОВ Владимир Николаевич — прозаик, член Союза писателей России. Родился в 1945 году в Таджикистане. Закончил Уральское училище прикладных искусств и филологический факультет Свердловского пединститута. Жил и работал на Дальнем Востоке. Был редактором Дальневосточного книжного издательства и главным редактором «Записок Общества изучения Амурского края». Автор шести книг повестей и рассказов. Публиковался в журналах «Север», «Ковчег», «День и ночь» и др. В настоящее время живет в Нижнем Новгороде.

ГОДВЕР Екатерина — поэт, прозаик. Родилась и проживает в Москве. Закончила МГППУ по специальности «клинический педагог-психолог». Мастер FIDE по шахматам среди женщин. Финалист и лауреат ряда литературных конкурсов (в частности, конкурс «Неизвестная земля» 2021 год). Автор научно-фантастического романа «Иволга будет летать» (издательство Т8, 2021). Стихи публиковались в журналах «Александръ», «День и ночь», «Южный маяк».

ДОБРЫНИН Андрей Владимирович — поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей Москвы и Союза писателей России. Родился в Москве в 1957 году. Закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. Защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Преподавал,

работал главным редактором издательств АСТ, «Мирт», «Букмэн». Один из основателей «Ордена куртуазных маньеристов», участник всех совместных книг Ордена. Автор 14 «сольных» сборников стихов, также издал ряд романов (часть из них под псевдонимами) и 2 книги переводов. В 2012 году награждён медалью имени Н. В. Гоголя Союза писателей России.

ЗОЛОТАРЁВ Игорь Леонардович — критик, прозаик, член Союза российских писателей, кандидат филологических наук. Родился в Орле в 1963 году. Закончил иняз Орловского педагогического института (французское отделение). Работал в школах Орла и области, выпустил семь научных монографий, публиковался в журналах «Русская словесность», «Вопросы литературы», «Литература в школе».

ИВАНОВА-ПРЕСНОВА Людмила Николаевна — прозаик, публицист, член Союза российских писателей. Родилась в 1937 г. в Рыбинске, закончила географический факультет МГУ. Много лет отдала педагогической работе — сначала в Коми АССР, затем в Орловской области. Последнее место работы — музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново (старший научный сотрудник). Живет в Орле. Пишет преимущественно в жанре «документальная повесть». Автор 10 книг.

КЕПЛИН Елена — поэт, член Союза писателей России. Родилась в 1978 г. в поселке Водный Коми АССР. Закончила филологический факультет Сыктывкарского университета и факультет ветеринарной медицины Кировской академии. Живет в Сыктывкаре, работает ветеринарным врачом. Имеет ряд публикаций в электронных и бумажных изданиях — «45-параллель», «Новая юность» и др.

КОМОВА Марианна Александровна — кандидат искусствоведения, доцент кафедры теологии ОГУ им И. С. Тургенева, эксперт-искусствовед. Родилась и проживает в Орле. Окончила Орловское художественное училище, исторический факультет ОГУ и очную аспирантуру МГУ. Имеет высокую публикационную активность. Область научных интересов: средневековая культура стран Центральной и Восточной Европы, старообрядческая иконопись, агиографическая литература.

КОНДРАТЕНКО Алексей Иванович — публицист, прозаик, журналист, председатель Орловского отделения Союза писателей России. Кандидат политических, доктор филологических наук. Родился в 1964 году в Воронеже, окончил журфак Воронежского университета. После окончания переехал в Орёл. Работал журналистом, руководил пресс-службой администрации Орловской области. Член Союза журналистов России, лауреат премии им. А. Е. Венедиктова. В настоящее время — заведующий отделом в Орловском Доме литераторов. Лауреат ряда премий, в том числе «За отечествоведение» имени Н. М. Карамзина и премии имени А. Г. Кузьмина журнала «Наш современник».

КУЗИН Юрий Владимирович — кинорежиссер, писатель, философ, член Союза кинематографистов России. Родился в Львове в 1962 году. Закончил Ярославское театральное училище им. Федора Волкова, учился во ВГИКе на режиссерском отделении у Владимира Хотиненко. Как режиссер имеет ряд наград, в том числе Вторая премия МКФ «Святая Анна», приз «Кентавр» за лучший дебют на МКФ «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, приз «Фонда Ролана Быкова» на МКФ «Киношок», приз за режиссуру игрового фильма на XIX МКФ ВГИК за фильм «Левша». Автор ряда богословско-философских трактатов. Художественная проза публиковалась в журналах «Москва», «Эдита», «Дальний Восток».

МАЛАФЕЕВА Ирина Николаевна родилась в 1981 году на Урале. Окончила Орловский государственный университет по специальности «Филология», ныне студентка магистратуры этого вуза по специальности «Литературное образование». С 1998 года актриса театра-студии «Млечный путь». Автор поэтических и прозаических текстов, которые использовались в студийных спектаклях. Участник Литературного объединения при Орловской организации Союза писателей России.

ПРОТАСОВ Валерий Владимирович — прозаик, поэт, член Союза российских писателей. Родился в Москве в 1939 году, закончил историко-филологический факультет Орловского пединститута. Работал сначала школьным учителем, затем научным сотрудником Музея И. С. Тургенева, а также преподавал литературу в Орловском институте искусств и культуры. Издано 26 книг прозы и стихов. Неоднократно публиковался в периодических изданиях.

РЕВСКИЙ Дмитрий — поэт. Родился и живёт в Москве. Член Художественного Совета сайта Стихи.ру. Выпущено два сборника стихов «Ветвяная улица» и «Анкета Дракона». Публикации в литературных журналах в России, Германии, Казахстане, Франции. Организатор и руководитель литературно-поэтической конкурсной площадки «Голоса» (с 2006 года — по настоящее время). Номинатор телепрограммы «Турнир Поэтов». Творчество представлено на нескольких литературных сайтах. Лауреат национальной литературной премии «Поэт года» в номинации «Лирика», в 2014 году.

СЕРГЕЙЦЕВ Тимофей Николаевич — философ-методолог, политтехнолог, поэт, публицист, член Зиновьевского клуба. Родился в 1963 году в Москве, закончил МФТИ, после чего увлекся идеями и деятельностью Московского методологического кружка. Участвовал в крупных политтехнологических проектах, выступал в качестве продюсера и сценариста. В последние годы активно сотрудничает с агентствами «Россия сегодня» и «РИА-новости». Совместно с Дмитрием Куликовым и Петром Мостовым написал и выпустил несколько книг, посвященных проблемам русской идеологии и государственности.

СОКОВА Ольга Будимировна — поэт, прозаик, бард, художник, член Союза российских писателей. Родилась в Орле в 1967 году, закончила худграф Орловского педагогического института. Работала художником-шаржистом и внештатным корреспондентом ряда изданий. Публиковалась в местной прессе. Лауреат 1-го регионального конкурса авторской песни и романса им. В. Трахтенберга. Участница ряда коллективных выставок.

ШУПИКОВ Алексей Александрович — писатель-прозаик. Родился в 1990 г. в пос. Заречный Севского района Брянской области. Окончил Международную академию бизнеса и управления. Служил в УМВД России по Брянской области, сейчас работает специалистом по вооружению на частном предприятии. Публиковался в изданиях «Брянский рабочий», «По горячим следам», «Щит и меч» и др. Лауреат ряда литературных премий. Автор сборника прозы. Живет в Брянске.



РУССКОЕ ПОЛЕ

Литературно-публицистический журнал

Номер выпущен при финансовом содействии
аналитического агентства VANGELIS PROJECT

16+

ISBN 978-5-6048306-7-3



Подписано в печать 10.04.2023 г. Формат 70x108 ¹/₁₆
Печать ризография. Бумага офсетная. Lazurski
Объем 15,4 усл. печ. л. Тираж 100 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Горизонт».
302025, г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, корп. 5.
Тел./факс: (4862) 30-00-70;
gorizont_pf@mail.ru

ISBN 978-5-6048306-7-3



9 785604 830673